

84P7(2P-4KEM)

0-38

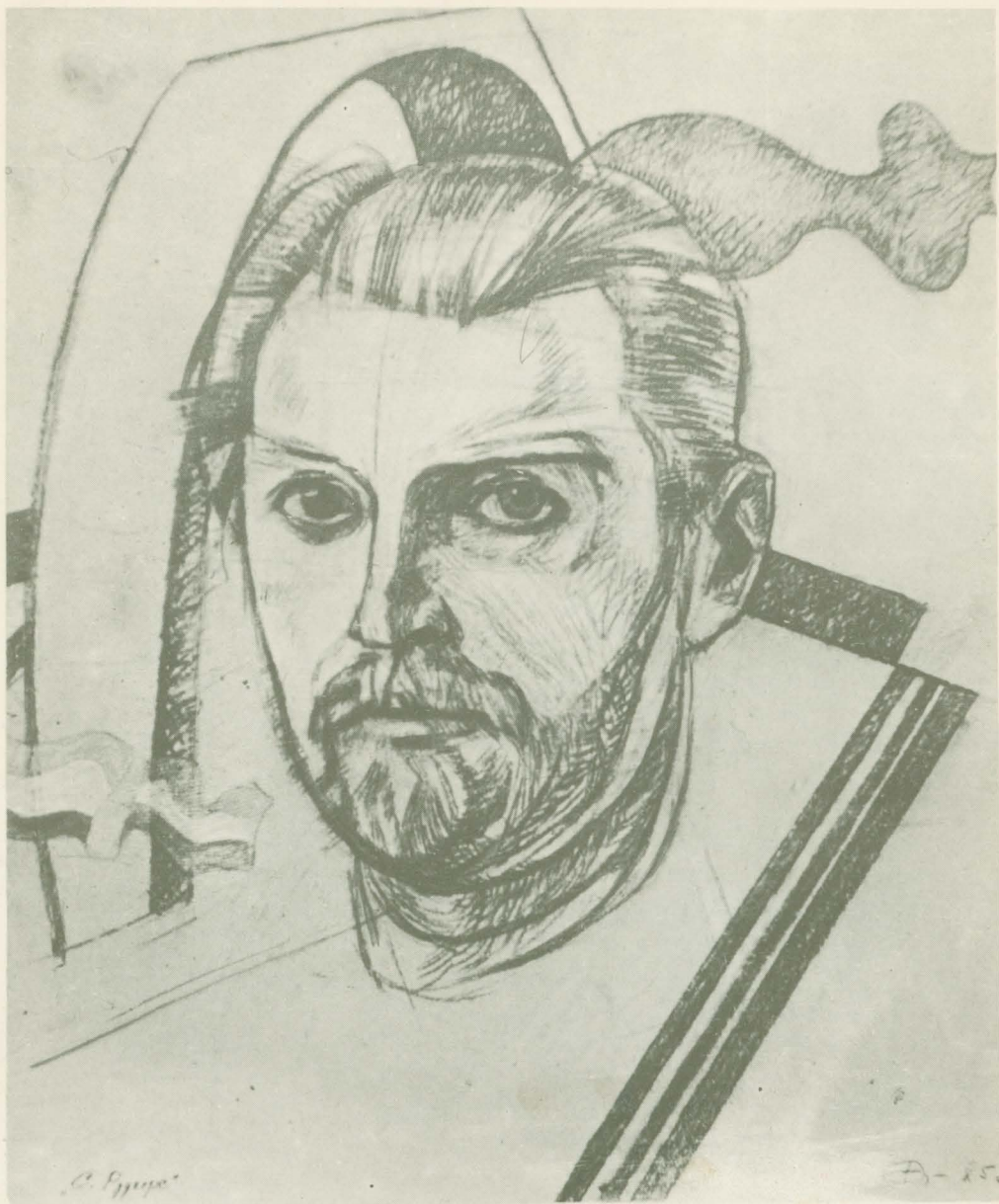
4•1988

ISSN 0206—0248

ОГНИ
КУЗБАССА



491855
638164



Р. Голков. «Медеро АИК. 1922 год. Рутгерс». Эскиз.

№ 4 (102)

Год издания 40-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

84 р 7 (2р - 4кст)
0 - 38

В НОМЕРЕ

Редактор

Виктор БАЯНОВ

Редакционная коллегия:

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

Владимир ИВАНОВ

Николай КОЛМОГОРОВ

Владимир КУРОПАТОВ

Владимир МАЗАЕВ

Владимир МАТВЕЕВ

Валентин МАХАЛОВ

(отв. секретарь)

Зинаида ЧИГАРЕВА

Геннадий ЮРОВ

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Александр Казаркин. Вослед легенде 3

ПОЭЗИЯ

Леонид Гержидович. Толкунок. Речка Туганак.
«Мне сегодня в снегах перелесья...» 11
Владимир Соколов. Время. Земля. Лес. 47

ПРОЗА

Петр Ворошилов. Сахалин-городок. Повесть . 13
Николай Астраханцев. На быстрой реке. Рас-
сказ 48
Евгений Богданов. Спасибо за все хорошее. Рассказ 58

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Татьяна Андреевская. Мать. «Ах, как глупо по пе-
рышку...», «Я сильна...» Стихи 56
Вера Лазарева. Звездочка. Считалка. Я и мама.
На высоких каблуках. Стихи для детей 57

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

И. Дрейцер. Фактор человечности 79

ИСКУССТВО

Марина Александрова. Философия бересты 86

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

С. Смолянин. Добро и Благо леса. Заметки о книге
Л. Гержидовича «Хвойный лес» 91

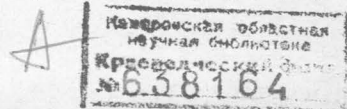
ПОЛЮСА СМЕХА

Владимир Матвеев. Дебаланс. Бизнес по-русски. Муд-
рый кладовщик. О лягушке-царевне. Поправка к Архиме-
ду. Пионерский рапорт. Загадочная заря. Доклад на
тему... Золотая Капа. Дети новоселов. Перед выходом
книги. Верное средство. Деловое предложение. Гроза ду-
раков 94



390591

Кемеровское
книжное
издательство
1988



Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40.
Тел. 26-88-48, 26-85-14

Рукописи
не возвращаются.

Перепечатка рукописей,
принятых к публикации,
за счет авторов

Редактор издательства
Т. И. Махалова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор
С. А. Мазаева

На 1-й и 4-й стр. об-
ложки: мозаичное панно
Р. Галкова «Ленин и Куз-
басс»

НАШИ АВТОРЫ

Гержидович Леонид Михайлович родился в 1935 году в поселке Барзасс Кемеровской области. Окончил Кемеровский пединститут. Автор сборников стихотворений «Песня моя, тайга», «Таволга», «Хвойный дождь», вышедших в Кемерове. Живет в г. Березовском.

Ворошилов Петр Семенович родился в 1926 году в Прокопьевском районе. Участник Великой Отечественной войны. Событийный корреспондент газеты «Известия». Автор многих книг.

Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Соколов Владимир Боевич родился в 1949 году в Томске. Окончил Кемеровский пединститут. Его стихи публиковались в газетах, в альманахах «Огни Кузбасса».

Член Союза журналистов СССР.

Астраханцев Николай Борисович родился в 1950 году. Культработник. Его рассказы печатались в газетах, в альманахах «Огни Кузбасса».

Живет в с. Борисово Крапивинского района.

Богданов Евгений Анатольевич родился в 1954 году в Алтайском крае. Окончил Новокузнецкий пединститут. Работает в редакции газеты «Комсомолец Кузбасса». Его рассказы публиковались в периодической печати и в коллективных сборниках.

Член Союза журналистов СССР

Галков Рудольф Алексеевич родился в 1935 году в г. Ново-локи Ивановской обл. Окончил Ленинградский художественный институт имени И. Репина. Художник-монументалист, участник зональных, республиканских и всесоюзных выставок.

Член Союза художников СССР.

Живет в Кемерове.

Сдано в набор 31.05.88. Подписано к печати 25.08.88. ОП00040. Формат 70X90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 7,02. Усл. кр.-отг. 7,897. Уч.-изд. л. 8,57. Тираж 7000 экз. Заказ № 2883. Цена 50 к. Кемеровское книжное издательство. Кемеровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650099, Кемерово, Ноградская, 5.

Александр Казаркин
кандидат филологических наук

ВОСЛЕД ЛЕГЕНДЕ

Земля эта неслыханно обильна урожаями, зверем и птицей, несметны ее сокровища, и даются они почти даром. Леса в ней неоглядны, реки чисты, все в ней родится, во всем свой строй и лад. Но войти в нее дано лишь безгрешным, лишь избранным. Потому что по скончании алчного века сего оттуда пойдет новый род людской...

Века прожило в Сибири сказание о привольной земле Беловодии. Неслыханны, ни с чем не сравнимы богатства той земли, а люди в ней добры и открыты, не знают ни обмана, ни разбоя. Там живут по правде, не творя ни самим себе, ни земле-кормилице никакого урона. А лежит та земля, чистая и праведная, за лесами немерянными, за бурными реками, за горами снежными — недосыгаемо для грешного мира. Осталась она нетронутой, какой от сотворения мира была. Так уж положено утопии: есть такая земля, но где — неведомо. Чуть ли не триста лет искали упорные и наивные крестьяне-переселенцы ту землю. Будто бы находили, но возвратиться, конечно, никто не захотел.

Эта утопия записана лишь в отрывках: ей не придавали серьезного значения. А не здесь ли коренная экологическая идея русских, народа, заселившего большую часть двух континентов? Важно, что к этой изначально-

ной правде люди вернутся, рано или поздно: «Всему свету конец», а вот Беловодия спасется.

В Сибирь, похоже, эта легенда пришла раньше Ермака. Казаки-ветераны, уцелевшие от его дружины, оставили свой письменный рассказ о походе «за Камень». И раньше знали они о неслыханных богатствах той земли, где шкурки соболей из туч валяются. Ну да, самоеды их складывают в кучи, а вихри там сильны, вот и вздымают рухлядь в облака. И — чудеса ведь — встретили казаки русских людей, уже давно там живущих, в той земле родившихся, и те подтверждали: есть такое, только настоящая сказочная земля лежит севернее, где совсем уж страшноваты самоеды. Впрочем, и на восток земля столь же изобильна, но тамошние татары самые лютые. А вот уж за ними, у крайнего моря...

А по летописным источникам, новгородские смельчаки ходили в сибирскую землю еще в начале одиннадцатого века. Еще до похода Ермака записано «Сказание о человецех незнаемых в восточной стране». Ну как не попытать счастья, если даже оленицы там падают с неба?! Так, мол, и так, «паки бывает другая туча и спадают оленицы малые в ней». Сколько неумных голов сманила эта сказка «в тую Сибирь во лютую»! Сколько их

полегло по рекам и тропам, оставив имена названий деревень и городков: Лукашкино, Мишутино, Кривошеино, Проскоково... За казаками пошли охотники и старатели, а за ними и пахари. Заветная земля была где-то рядом, но не хватало сил дойти. Да и зачем идти: разве сравнишь сибирское приволье с российской теснотой? Правда, говорят, и там когда-то было так же, но это, скорее, сказки, легенды. Стояли леса нетронутые и там, реки были чистые, птицы непуганые.

Первыми пахарями в Сибири были старообрядцы, уходившие от преследования «древлеотческой веры». В их среде и дожила легенда о Беловодии до конца прошлого века, была столпом их идеологии. Если всем государством завладел Сатана и «всякую святиню извратил», то как не искать земли, не тронутой распадом? Есть такая земля, и в ней — ни толчеи городской, ни судей неправых, ни попов, веру продавших, ни винокуров, ни «табашников бритоусых», — не достичь ее дьяволу-совратителю.

Легенда и жизнь сплелись здесь в такой сюжет, которого хватило бы на многие романы. Во многих романах он отозвался, три а то и четыре поколения русских писателей к нему прикасались, но не вычерпали. Д. Мамин-Сибиряк, П. Мельников-Печерский, Н. Лесков, В. Шишков и М. Пришвин, С. Залыгин и В. Астафьев писали об искателях Беловодии. А еще вспомним: «Хмель» Н. Черкасова, «Семейщина» И. Чернова, «Разрыв-трава» И. Калашникова. И среди них — девятитомная эпопея Г. Гребенщикова, прозаика-сибиряка, «Чураевы». Между прочим, горьковский Лука зовет людей в Сибирь, в правильную землю, куда-то в Томскую губернию. Не в Кузнецкую ли котловину, тогда ещё не тронутую?

Одно дело — отзвук народной легенды в литературе, в верхнем, просве-

щенном ярусе культуры, и другое — само народное слово. В нем ведь урок, веками выношенная идея землепользования. Записать беловодскую легенду было нелегко, так как в прошлом веке она ходила исключительно в старообрядческой среде и была частью идеологии староверов. Они уходили «от антихристового мира», мечтали создать свою общину, свободную от всякого казенного принуждения. Пройти в Беловодию, оказывается, можно было лишь после очищения и отречения от мира, где «Сатана власть захватил и всякую святиню извратил». Всей дороги никто не должен знать, надо двигаться от скита к скиту: «От той обители есть ход сорок дней с роздыхом через Кижскую землю, потом четыре дни ходу в Татанию. Живут в губе окёяна моря, место, называемое Беловодие». Кижская земля не случайно упомянута, она же и Китежская. Это продолжение легенды о чудесном спасении праведного города Китежа от монгольского нашествия в водах Светлого озера. Белые воды — это чистые, незамутненные реки. А кроме того еще и символ чистоты «древлеотческой веры».

Где только не искали Беловодию?! Даже в Японии. Один из героев Мельникова-Печерского сообщает: «Довольно годов выжил я в Беловодье... в Опоньском царстве». В конце прошлого века вышла книга Г. П. Хохлова «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство». Это запись рассказа со слов самих казаков, предельных почти кругосветное путешествие: Одесса — Константинополь — Порт-Саид — Цейлон — Нагасаки — Владивосток — Красноярск — снова Урал. Особенно упорно верили крестьяне в то, что Беловодье лежит в предгорье Алтая или на самом Алтае.

Вольная эта земля не что иное как антипод цивилизации. Это понял В. Г. Короленко, в сибирской ссылке слы-

шавший легенду: «Это настоящая сказочная страна всех веков и народов, окрашенная только старообрядческим пастроением... Ни татбы, ни корысти, ни убийства царство это не знает, так как истинная вера порождает там и истинное благочестие. Страна эта называется камбайским царством или Беловодией».

Сто лет назад даже науке не известно было понятие «экология». А в народном сознании уже сотни лет варьировались мотивы возмездия за грехи перед землей. Апокалипсис, эта ранняя антиутопия, содержит пророчания о гибели заблудшего мира. Замечательно как раз то, что народная утопия идет с ним вразрез. Там — «горе всему свету», «плач и скрежет зубовой», а в беловодской легенде — процветанье, вечный лад с землей. Эта «ересь» звала людей на край света, в труднейший тысячеверстный путь. И кто знает, было бы столь же быстрым русское заселение крайних земель восточной и южной Сибири без этой веры в природную благодать?

Об упорстве веры в спасительную чистую землю больше ста лет назад размышлял известный путешественник и публицист Н. М. Ядринцев: «Кругом дикая природа, киргизы, китайцы, и тут же русская деревня, русский говор, русская песня, русский хоровод... Это миф о Беловодье, распространенный в южной Сибири, двинул русскую колонизацию к китайским границам... Это были новоселы, истощившие свои силы, надсадившиеся. Дойти до обетованных благословенных мест и остаться нищим! Какая насмешка судьбы!»

Документы говорят о полутора столетней борьбе первооселенцев Салаирского края с настигавшей их властью в лице горной конторы. Вот он, зачин истории земли Кузнецкой — первые рудники, первые заводы. К судьбе первых «горщиков», рудокопов,

а вчерашних землеробов, обратился Виталий Рехлов в своих повестях «Горные рекруты» и «Серебряный рудник». На эту тему, ждущую раз-работки вширь и особенно — вглубь, его навели поиски следов жизни Михайлы Волкова. Отдадим должное писателю, пионеру исторической прозы о Кузбассе, — при явном художественном несовершенстве его повестей. Попробуем взглянуть на эту тему глазами людей, чьи отцы и деды совсем недавно пришли сюда, ведомые призраком счастья в обетованной земле.

Беловодия — постальгия по чистой, неиспогащенной земле, крестьянский рай, где только знай работай. Богат Салаир, но куда богаче Кузнецкая котловина, на окраине которой он лежит. Само название — Салаирский край — сейчас многим кажется диковатым. Салаир превратился в заштатный городок, даже поселок, а ведь в нем-то все и начиналось. Тема эта не осталась неосвещенной, хотя, разумеется, двухсотлетняя история Салаирского рудника должна отозваться шире. Еще в 1957 году выпущена документальная книга Н. Я. Савельева «В старом Салаире» — о первых копиях и заводах Сибири. Да, больше ста лет обширный район Томи и Чумыша назывался Салаирским краем, а население подчинялось Салаирской горной конторе. Только в старой горняцкой песне отзывается память о трижды клятой этой конторе: «Иль ты начальника боялся, иль ты в контору задолжал?» С 1745 года, когда Романовы отняли Колывано-Воскресенские заводы у Демидова, «по указанию высочайшего кабинета и по определению Канцелярии», тысячи крестьян были загнаны в истинно каторжные работы. Откуда же брались «нижние чины» на горных работах и медеплавильных, кого называли «беграуеры, гормахеры, шплейзеры, шмельцеры, форлейферы»? Это дети тех бегунов от мира, которых

привела сюда легенда о чистой и праведной земле. Как при рекрутском наборе, давалась твердая разверстка на село — сколько душ надо отдать на рудники и заводы. За проступки бывшие «горные рекруты» переводились в более тяжелое, почти каторжное состояние, и нередко «рекрут» работал рядом с каторжником, прикованным к тачке. А между прочим, использовать каторжан здесь было нельзя, по букве закона. Ведь рудники и заводы эти были личной собственностью царя, частью его поместья. И наказаниям «рекрут» подвергался каторжным. За побег — четыре тысячи ударов, за второй — пять, за третий — уже шесть. Вынутых из петли приводили в сознание и наказывали как за побег. Не уклоняйся, мол, от служения царю-батюшке.

Ну не сатанинская ли ирония: уйти от «крепости» и попасть на каторгу! Причем на бессрочную: служение начиналось иногда с восьми лет и заканчивалось с полной потерей трудоспособности. Мир настигал, Беловодия отодвигалась за горизонт. «Земля божья, — пишет старообрядческий проповедник, — неужели император сотворил землю, что называет ее царской»? А горная контора все расширяла пределы своих владений. Проезжая по Западной Сибири, Радищев записал: «если разорительная рука начальства частного не прострет свое опустошение, если равняящаяся огню для сельского жителя приписка к заводам не распространится на барабинских жителей, то благосостояние их будет лучше и лучше». История эта, в более поздних звеньях ее, отражена и в недавно вышедшей книге о Салаирском руднике Михаила Сорокина. Важнее всего — облик края, каким он был двести-сто пятьдесят лет назад. Что же говорят документы?

Уголь, везде был нужен древесный уголь. Без него нельзя было плавить

медь и серебро, а стоил уголь в Сибири баснословно дешево. И первыми сбросили хвойную шубу отроги Салаирского края, потом — окрестности Кузнецка, потом постепенно — вся котловина. Совсем недавно очередь дошла и до кедрачей Горной Шории. Не больше десяти-пятнадцати процентов леса идет в дело при такой вот угледобыче. Одно дерево из пяти-шести. Вот характеристика культуры. Сейчас дело обстоит куда лучше: в дело идет одно дерево из трех сваленных. Но не может же быть, чтобы потомок не назвал и эту культуру пользования природой сущим разбоем.

Интересный документ отыскал в архивах Барнаула Н. Я. Савельев. Уже при планировании Томского железорудного завода (не в Томске, а в нынешнем Прокопьевском районе он был) возникло сомнение, хватит ли угля для печей. После обмера лесов Притомья был сделан инженерный прогноз: лесов для угля хватит не менее чем на сто лет. Значит, до начала XX века. А почему интенсивная добыча угля «близ деревни Кемеровой» началась на пороге века нынешнего? В том инженерном предсказании можно было вычитать и терриконы, шахтные отвалы и... самые большие карьеры открытой угледобычи.

Однако что же все-таки значит «обжигать землю»? Обжечь, мне кажется, — породниться с ней, укорениться здесь. Но тогда ведь немислы навечно авральным настрой: «давай-давай, любой ценой». Трудно не согласиться с нашим поэтом: «Мы слишком молоды, чтоб удивить собором, но стали дорожить сосновым бором». Молоды, но пора бы уж и повзрослеть. Хотя ведь и до нас жили на этой земле люди, тысячи лет жили и следов таких на ней не оставили. Так ли уж дорожим мы, кемеровчане, бором, высшей ценностью города? За пять лет в нем появились новые дороги, расширились

«пяточки», площадки и площадочки. На наших глазах бор погибает. Потом его не будет, уже п-и-к-о-г-д-а. Танц-площадок можно настроить от моря и до моря, а вот научились ли мы обживать землю? Мне приходилось не раз слышать речи очень деловых людей, будто все рассуждения о гибнущей красоте природы ведут бездельники и для бездельников. Им ничто тысячелетний опыт народа. Им ничто, если потомкам мы оставим не землю, а стройплощадки, карьеры, отвалы, что мы лишим потомков счастья общения с природой — их же именем, будто бы их же благом.

Известна ли цена бора? Пока можно сказать одно: его средообразующая ценность, создание среды здоровья на сегодняшний день в восемьдесят раз выше чисто материальной стоимости — как древесины. А сколько может он стоить через сто лет? Сколько стоит то, чего уже нет. Да, легли несчитанные боры по Тайдону, по Кии, по Алею и Яе, по Томи и по Берди. Все дальше на север и восток уходили охотники за пушным зверем, все дальше — по следам аборигенов. Уже в середине прошлого века газеты писали о малочисленности пушного зверя в Кузнецком уезде. Это были, конечно, преувеличения, сопоставления с тем что было до того. Смешно сказать, когда-то чернобурка стоила меньше, чем сейчас кирзовые сапоги. А ханты подбивали лыжи соболями шкурками — из-за прочности меха.

И все же сибирские крестьяне, не приписанные к заводам, пужды настоящей не знали. Дома ставили из лиственницы, крыши — из кедровой дранки. Земли — сколько хочешь, только не ленись, своди тайгу. Ах, этот пожар, эта подсечка, корчеванье пней, — какие пространства леса превратил он в дым и золу! Любит человек близость дерева, особенно сосны, но не сдобровать дереву от этого со-

седства. Неужели на сотни лет оказывается справедливым образ свиньи под дубом вековым? Коробит, знаю, но как же обозначить: чем ни прекраснее земля, чем ни обильнее она, тем страшнее следы на ней. Кажется, уж не надо искать земли более щедрой и прекрасной, чем земля Кузнецкая... до начала эпохи Копикуза. Об этой поре в истории Кузбасса рассказал М. Никитин в своей «Кузбасской хронике». И вот круг предыстории нынешнего Кузбасса замкнулся, он освещен. Не хватает только моральных акцентов. Потому что пора все дела мерить единой мерой — сохранением земли.

Легче, конечно, найти оправдание, ну, скажем, сослаться на неизбежность. На молодость — «мы слишком молоды, чтоб удивить собором». А зачем собор тому, кто молится на мастерские и кочегарки? По Базарову: природа не храм, а мастерская. Вон в Салаире разрушается церковь, не собор, конечно, но все-таки старейшее здание в Кузбассе, где вообще не найти столетних домов. Она стоит в двух метрах от глубочайшего котлована, и кто виноват, что она обречена? Исторический процесс? А может быть, чья-то моральная невменяемость, простое неуважение к предкам. Тогда трудно рассчитывать и на уважение потомков. А вдруг они скажут: не шел ли здесь технический прогресс за счет экологических повреждений? Та земля, что виделась первопроходцам раем, теперь может быть описана лишь гротескными образами!

Есть впечатляющая параллель, вернее предостережение. «Это только хроника эры технологии, которая, по мнению многих, обещает вечное блаженство, а на деле является мощным инструментом полного уничтожения не только дикой природы, но и самого человека... В подобных действиях нет ничего подходящего под определение убийства сотягчающими обстоятельством».

вами. Однако они свидетельствуют о беззаботности, бездумности, граничащими с непреднамеренным убийством». Так говорит в своей книге «Трехсотлетняя война» У. Дуглас, юрист; размышляющий о трехсотлетней войне выходцев из Европы с богатейшей американской природой. Победа такова, что в городах Америки трудно дышать. Эта «технотронная пустыня» — замечательный рывок в переделке земли.

Но больше нет чистой земли, где все можно начать с начала. И нет у человечества никакого стратегического запаса выживания, кроме человечности. А это — милосердие к земле и к живому. Отказ от утилитаризма. Еще недавно мы верили, что тема будущего искусства — покорение человеком природы. Ценности меняются все-таки быстро. Мы теперь уверены, что не будет большей радости, чем возвращение к истинной природе. Иллюзорное, конечно, возвращение. Не случайно ведь эта тема становится повсеместной в литературе о прошлом. Почему так любим мы читать о кочевых культурах, об аборигенах Сибири? Да потому, что здесь можно увидеть, что мы потеряли. На мой взгляд, именно поэтому с интересом читается не только подростками исторический роман Р. Николаева о динлинах «Алакет из рода Быка». Пожалуй, это не исторический роман в точном смысле слова — ведь должны быть подлинные имена и события, — скорее это тоже своего рода утопия, ностальгия по привольной чистой земле. Могучий и справедливый герой Алакет, борющийся за родную землю против завоевателей хуннов, — предок кетов, народа, оставившего название реки. «Томь» по-кетски означало белая вода, чистая, незамутимая. Замечательное совпадение: В. Даль отмечал, что в русском народе слово «белый» употреблялось в значении «чистый», «ясный». Кроме Беловодья народное поверье знало еще

Белогорье, а северяне различали белую и черную тайгу, а никем не деленную степь именовали белыми землями. Нельзя обживать землю, не зная ее истории.

Но что там динлины, немыслимая древность земли Кузнецкой, — на нашей памяти жили два шорских художника слова — Степан Торбоков и Софрон Тотыш, донесших до нас «экологическую этику» своего народа. Оба прошли почти незамеченными, спохватились мы после их смерти. Для историка-литературоведа их творчество интересно как ступень перехода от певца-сказителя к поэту-писателю. Мифологические истоки, сказочные корни их песен-стихов, а также и записанных ими сказок, преданий видны внимательному читателю. Куда ценнее содержащиеся в пословицах и притчах наставления, как жить в мире и дружбе с тайгой, рекой, горами, как сохранить честность и достоинство перед землей, даже будучи охотником.

О чем же эти песни, эти сказки? В самом общем смысле — о счастье жить в ладу с людьми, о справедливости земли, о мудром равновесии в природе. Для цивилизованного человека все это — детские сказки, ненужная досюльщина. А ведь и у русского народа есть сказания такого рода, много находится параллелей. И песни Торбокова, и сказки-предания Тотыша рассказывают о справедливых богатырях, которых полюбила сама земля, о знатоках птиц, рыб и зверей, мудрых и удачливых добытчиках, не способных убить лишнюю белку. О наказании жадным и коварным, которое вершит сама мать-тайга. О хозяевах стихий — ветра, воды, огня, — покровительствующих справедливому человеку. Счастливая, невозвратная наивность? А может быть, чистота, нравственная полноценность? Если человек усмехается над верой в немигуемость расплаты заблудшему, не живущему по

закону земли, такому человеку нечем помочь. Он живет своей верой, и она его тянет на дно. Но в основе своей, в корнях фольклор прежде далеких народов — русского и шорского, телеутов и хантов — един.

Это дальняя память, зарницы тех времен, когда человек жил в ладу с природой. Как дороги для нас эти убеждения — что есть добро и что зло в отношениях с природой, — мы редко отдаем себе отчет. Что чтит народ как вечное и незыблемое, это и есть его моральный капитал, то, на чем можно крепить, воспитывать поколения. Этот капитал искать не надо, он рядом, им надо уметь пользоваться. Для шорца величайший грех, наибольший из мыслимых грехов — уничтожение тайги. Так ведь и у русских прежде не мог родиться зловещий образ эксплуататора земли, не прикоснувшегося к ней душевно, не любящего ее. Если нет согласия ума и сердца, то и удача добычика — лишь мираж, а не само богатство. Земля стала беззащитна, насилье теперь совершить легко. Нетрудно бывший храм превратить в свалку, трудней всего вернуть зачерствелому сердцу потребность в благоговении перед миром.

Но рано или поздно все равно спохватывается человек: ведь земля нам не добыча, не только сырье или кузница. Она еще и воспитательница, и место молитвенно-благоговейного отношения к жизни, то есть опять же храм. А без этого любое природное изобилие люди быстро превращают в отходы и утиль. Дело времени, техники. Топору, пиле и лопате понадобились три века, экскаватор ту же ликвидацию проведет в более сжатые сроки.

Так что же такое эта историческая память для нас — символ отречения, разочарования? Нет, вероятно. Даже и беловодскую легенду надо читать не как проклятье властвующему порядку, а как попытку увидеть точку, откуда

все пошло не туда. Передумать, переоценить, правильно расставить вехи, увидеть с высоты опыта двух-трех веков!..

Как в недрах земли ждут своего часа богатства, когда они могут быть реализованы, так и в запасниках культуры хранятся вести из прошлого, до поры до времени не нужные. Истинную цену имен и дел определяет большое время. И вот из двухсотлетнего забвения всплыло имя рудознатца: Михайло Волков. Именно к пятидесятилетию Кемеровского рудника сложился костяк «Повести о Михайле Волкове». Время востребовало тему этой повести В. Рехлова. Она не могла появиться не только в двадцатые годы, но и, пожалуй, в сороковые. Культурное самосознание края рождается не вдруг, не в один момент. Книга В. Рехлова, наверно, останется только как первое прикосновение к важной теме, здесь возможны и другие пути ее решения. Рехлову, пожалуй, удался колорит эпохи — лихоимство и наглость властей, привычное бесправие, — мало в повести поэзии земли. Потому и ступсевалась как-то суть открытия.

Впрочем, прозаик преследовал вполне определенную цель: создать документальное повествование о рудознатце, забытом на два с половиной века. Но в книге неизбежно возник домысел, произвольное истолкование судьбы. Начав с обсуждения документов Петровской эпохи, автор приводит читателя к убеждению, что вот такой была жизнь Волкова, и она достоверно известна. А жизнь-то сочинена, увидена субъективно. Сомнительно, чтобы профессиональный рудознавец, исходивший Урал, Западную Сибирь и Алтай, был крепостным. И что семья его оставалась в центральной России. Где же он выучился ремеслу своему? Зачем-то автору понадобились домысел о перемещении Волкова с товарищами из Томска в Москву в кандалах. Правда, это по-

могает автору богаче ввести реалии времени. Важнее другое: в «горелой горе» крестьяне добывали уголь и до Волкова, и после него: сам народ и открыл уголь Кузбасса.

Да и как можно создать строго документальное повествование, если об открытии рудознатца сохранилась одна фраза: «Волков заявлял по Томи в 7 верстах от Верхо-Томского острога горелую гору от 20 сажен высоты»? Открытие Михайлы Волкова оказалось преждевременным для тогдашней России, сообщение затерялось в конторских книгах. Разве не такова судьба изобретения Ползунова, инженера Колывано-Воскресенских заводов? Если бы только эти два открытия съела чиновная рутинная! Найдутся еще сотни и сотни. Но неунничтожимо усилие народа, воля его обжить суровый и богатейший край. Подлинное открытие рано или поздно воплотится, скажется в судьбах поколений, станет частью истории народа.

Таким сверхоткрытием было выявление уникальности Кузнецкой котловины. Сотни миллионов лет природа откладывала здесь запас, ценность которого растет от века к веку — с убылью запаса. Дело не в самом угле, во всем, чем был когда-то Кузбасс. Миллионы лет текла по котловине река. Белая, чистая река посреди чистой земли. Много племен прошло по долине, вдоль реки, и каждый народ оставил свой след. Пришел и наш черед...

В утопиях человек меняет землю только к лучшему. Поэтому от них вроде бы можно отмахнуться деловому человеку. Но память — всегда урок. Из дальней дали веков приходит предостережение, пример и призыв. Если люди не будут грешны перед

землей, то сам воздух, климат сам изменится в лучшую сторону. Вот так: чтобы жить в хорошей земле, надо быть ее достойным. Первым людям сама земля дала закон и меру, потом все замутилось. Грамотей-самоучка, народный проповедник Федор Подшивалов, десять лет просидевший в монастырской тюрьме за свою проповедь и сосланный навечно в Сибирь, наставлял и здесь «чалдонов»: «Если вы будете в точности исполнять все законы и уставы... то через недолгое время климат наш переменится и морозов таких не будет... не только будут родиться разные фрукты, но даже самой виноград, то есть совершенный будет рай на земле... в каком образе были первые люди».

Утопия не только поэзия, но и прямой наказ. Если, конечно, уметь его читать. Утопии несут людям чаще всего драмы, но они двигают ими, срываю-ют с места, толкают на смертельный риск, заставляют отвернуться от ближней очевидной пользы ради дальней заманчивой цели. Что без них была бы человеческая история? Одна из важнейших драм истории — борьба с дикой природой — письменно почти не фиксировалась. Ее следы — на лице земли. Уходят в прошлое народы, имена, потребности и веры, а земля одна. И вот открывается подлинный смысл драмы: это земля гнала племена из края в край, это состояние степи вызывало великие переселения народов, это истощение лесов вело к открытию коксования угля, это богатство земли создает небывалую для Сибири плотность городов. И вот последнее открытие: запасного варианта у истории нет, заново не начать, надо обихаживать землю. Беловодия не всем дается, не всем. Потому и следов ее нет.



ТОЛКУНОК

Пестик, пестик, толкунок —
Хвощ загородный...
Бегал мальчик-прыгунок,
Босый и голодный.
За вершком щипал вершок:
Будет запеканка,
И пыхтел в печи горшок —
Животу обманка.

Пестик, пестик, толкунок —
Хвощ загородный.
...Где ты бродишь, мой дружок,
По земле свободной?
Принимала речка нас
На свои ладони,
За поселок в поздний час
Уносили кони.
Наш мальчишеский разгул
Оглашал урему...

Хоть бы раз ты завернул
К собственному дому.
Отвдохнула мать твоя.
Ждать тебя не в силе, —
Поосыпались края
На ее могиле.
Мой хохочет мотоцикл,
Что сгнила уздечка,
И черна, как антрацит,
Под горою речка.
Где урема, там пеньки —
Не охватишь взглядом...
Как мне дружеской руки
Не хватает рядом!
Поднимают новый дом.

Возле дома — дети.
Быстро машут топором
Пришлые соседи.
Рубят, клинят абы как
Для себя жилище...
Может быть, и ты вот так
Где-то, мой дружище?
Что, мытарствуя, сберег
Ты в душе безродной?
...Пестик, пестик, толкунок,
Хвощ загородный.

РЕЧКА ТУГАНАК

У смурной тропы варнак
Прятался с кастетом...
Туганак, мой Туганак,
Помнишь ли об этом?
Над костями золотарей,
Коль не врут поверья,
Голосит в ночи пырей
Да скрипят деревья.

В эти дебри, как сморчок,
Обсушить мозоли
Был поселен мужичок
Не по доброй воле,
Чтоб одумался кулак
Да не взвидел света...
Туганак мой, Туганак,
Помнишь ли про это?
А мужик опять, как бес,
День забыв вчерашний,
Топором раздвинул лес
И засеял пашню.

Встал колхоз, потом иссяк,
И домов-то нету.
Туганак мой, Туганак,
Помнишь ли про это?

А затем к тебе в пыли
Горемычным строем,
Будто тени, прибрели
Люди под конвоем.
Кашлем рвались голоса
В комариных тучах.
Расквადрились леса
Проволокой колючей.
Угождала силе злой
Горевая доля:
Кубатурой да пилой
Откупалась воля.
Полегла тайга, как враг,
Стало вдоволь света.
Туганак мой, Туганак,
Помнишь ли про это?

А теперь который год,
В шалашах ночуя,
Вдоль твоих безлюдных вод
Я один кочую.
И взволнованная грудь
Тонет в укоризне:
Не могу я вникнуть в суть
Скоротечной жизни.
И куда теперь, и как
Ринусь за ответом?
Туганак мой, Туганак,
Помоги мне в этом.

* * *

Мне сегодня в снегах перелесся,
Как негаданный выдох иль сон,
Небывалая слышалась песня,
Доносился неведомый звон.

В нем я слышал миров колыханье,
Детский лепет в родимом краю,
И любовь, и благие желанья
Переполнили душу мою.

Заливались серебряно трубы,
Воскликала торжественно медь...
Дикий лось целовал меня в губы,
Улыбался по-братски медведь.

По-ребячьи барахтался воздух
На раздолье уснувшей курьи,
И в сугробах горячие звезды
Натыкались на лыжи мои.

Грудь распахивал лес многолиций,
И, ликуя,
Из дальней дали
Прилетели ко мне
Не синицы —
Журавли, журавли, журавли!

г. Березовский



САХАЛИН-ГОРОДОК

I

— Ироды! Сгубители! Стреляйте нас, вашу мать...

Простоволосая Марья Логунова кричала визгливо и старательно, удерживая за руку лобастого Саньку. Санька, увидев Ковалева, дернулся, норовя занырнуть в спасительно распахнутую калитку. Марья не пустила. Испуганно прилепившись друг к дружке, в голос ревели Нинка и Зинка, младшие Санькины сестренки-погодки.

Ковалев прибавил шаг.

Марья кричать перестала, запричитала напевно, как над покойником.

— Где ты мой, Иванушка? Сокол мой быстроскрылый, заступник радостный. Шахтой засыпали тебя проклятушие. Поднимись, родимый, заслони детошек своих горемычных!..

Марью Логунову Ковалев знал хорошо. Год назад, схоронив Ивана, попавшего в шахте в завал, тихая и самая неприметная в поселке баба вдруг ударилась в запой. На людях скандалила, тиранила своих ребятишек, постарела как-то сразу. Ковалев жалел Марью, горю ее сочувствовал. Сам съездил на шахту, поговорил там с кем надо в бухгалтерии и профкоме, сердито поговорил. Проследил за тем, чтобы пенсия за погибшего отца детям выплачивалась полностью и без задержек. Для Саньки в женсовете хлопотал зимнюю обмундировку к школе. Но встречаться с Марьей наедине, проводить с ней входившую в моду индиви-

дуальную воспитательную работу опасался. Была на то причина.

Готовил Ковалев сводку поселковых происшествий за неделю и засиделся у себя допоздна. Темнело уже на улице. Осторожно скрипнув дверью, вошла Марья, по обыкновению пьяная и растрепанная. Скромненько устроилась на лавке, на самом ее уголке. Бессвязно, с прищепыванием стала жаловаться на загубленную жизнь. Ковалев разговор поддержал, попенял Марье на то, что не полагается детной женщине вести себя непристойно, что надо ей идти на производство и работать, а не на водку изводить сиротское пособие. Марья слушала, скорбно кивала головой, со всем соглашалась. А потом легла на кушетку, бесстыдно раскинула ноги, задрала подол обляннанной грязью юбки и трезво сказала: «Люди придут, а я им скажу, что ты со мной, вдовой и беззащитной, издевал». Ковалева летом за порог вынесло, словно ему за воротник гимнастерки кипятку плеснули. Марья же только зло захохотала вслед...

Чем урезонить жившую без стыда бабенку? Встретишь и, как лужу, обойдешь. Но с живым человеком ведь не всегда разминешься: широка поселковая улица, да на всех одна...

— Будет, будет причитать, — построжил Ковалев. — Объясни лучше, что стряслось?

— Объяснять тебе. Та сам глянь. Без объяснений глянь. — Марья вздернула на Саньке порванную рубашонку. Пересилив упорство парнишки, повернула к

Ковалеву лядящей спиной. Спина, остро вышивавшие лопатки, даже шея были исполосованы пухлыми кровавыми рубцами, замазанными то ли дегтем, то ли мазутом. — Проволокой стегаали. Вот она, валя советская власть, железом стегают. Завезли на погибель.

— Ты власть нашу не трогай, — сурово оборвал Ковалев Марью. — Наша советская власть мальцов, даже таких, которые из раскулаченных, бить не разрешает.

— А бьют! Кто же разрешает? Ты разрешаешь? Ты у нас главная власть.

Ковалев глянул в окно. Улица была пустынной, хотя до настоящей летней ночи было еще далеко. В доме напротив сирой лампадой затеplился огонек. Косынкой загнулась с боку ситцевая занавеска. Между горшками с геранью неразличимо просунулось чье-то лицо, замерло на миг, потом отодвинулось в тень. Занавеска выправилась, огонек погас. «Чалдон узкоглазый, — выругался про себя Ковалев. — Зыркнет, как из засидки стрельнет. Ему не в диковинку, что баба голосит. Случись сейчас это самое светопреставление, он, гад, и ворота не распахнет. Изнутри ставешки запрет покрепче, чтобы наглухо».

Санька стоял, набычив лобастую голову. Он не ревел. Он смотрел на Ковалева с такой перебьчей тоской, что у того в груди больно кольнуло.

— Кто это тебя? — спросил Ковалев.

— Зареченские, — тихо и почему-то виновато ответил Санька.

— Оплошал, казак?

— Я козу пас. А они подкрались. Книжку еще у меня отняли. Про Буденного.

— Книжку мы, конечно, возвернем. Вместе почитаем.

— Не возвернешь, дяденька милиционер. Зареченские ее в костер бросили.

— Про Буденного — в костер? Экие стервецы!

Марья снова наладилась голосить, но Ковалев прикрикнул на нее:

— Хватит, однако. Разберусь я с заре-

ченскими. А ты вези мальчика к доктору. Конюху передай, что я разрешил моего Алтая запрячь в ходок. Не больницую ищи, а пункт скорой помощи. Там дежурство круглосуточное. Рядом с шахтой тот пункт, на улице Ударников. Да оденься путем.

Марья дернула Саньку за руку. Притихшие было сестренки снова заревели, боясь остаться в темной избе. Санька сразу набычился, уперся голыми пятками, потянул мать к себе.

— Шагай, шагай, казак, — подбодрил его Ковалев. — Девчонок я сам покараую. Завтра ко мне загляни. Вместе и раскинем мозгами что к чему.

II

Новый шахтерский город складывался просторно и торопливо, руководствуясь не городским, а стародавним деревенским укладом, обживая в первую очередь те места, где вода к дому поближе, где земля под огород годится. Был за всем этим простой хозяйский расчет: мужик с обушком — в шахту, а жена с подойником — к корове, старики и ребятишки на грядках возятся.

Стройка вокруг развернулась невиданная. И работа началась невиданная — без продыха, такая работа, от которой не бегали, которую искали, а найдя, делали так, как никогда не делали. Да и сроки назначали на эту работу так, как досылают патрон в винтовку — одним разом и до упора.

Родная Россия могла помочь своим дальним окраинам только тем, чего у нее самой имелось с избытком, — мастеровым, изголовавшимся и потому непривычным, легким на подъем работающим людям. Целыми деревенскими концами ехали в Кузнецкий край вятские лапотники, ухватистые, вороватые волжские грузчики, Рязань-косопузая с топорами за ременной опояской. Катили эшелоны с тагающими, словно гуси, тавричанами, с пестро изнаряженными казанскими тата-

рами, с низкорослыми, но бойкими чувашами, мордвинами, мари́йцами. Ехали семейно: с бабами, не решившимися отпустить мужиков черт-те куда на заработки, с матерями и отцами, за которыми в оставленной деревне все равно присмотреть было некому, с ребятишками. Ехали не в ссылку, ехали волей на вольную жизнь, из окон теплушек жадно обшаривали глазами малозаселенную неоглядную Сибирь, то степную и светлую, то затаеженную и хмурую. Ехали те, кто крепче духом, кто здоровьем и силой не обижен. Сгрудившись на узловых станциях, азартно играли в карты, ставили на кон измятые трешницы, жадно бились об заклад, одинаково охотно хватались и дрались.

Прибыв на место, селились накрепко, соблюдая родство и соседство. Захудалая вятская деревенька возрождалась широкой городской улицей с домами, рублеными из здешней сосны, жили в этих домах своими обычаями.

Шахту ставили артельно. Строили копыры и пробивали стволы. Потом в забоях уголек шуровали вместе. Там, под землей, русские находили общий язык с татарами, дюжий хохол, отмахиваясь от слабосильного чуваша, первым подставлял плечо под сыро-тяжелую крепекую стойку. А бывальщины внукам бабушки рассказывали свои, разные. Думали и делали все по-своему. Бывало, пойдет Семка провожать из клуба приглянувшуюся ему Оксану, а обратно его, избитого, уже участковый или родня доставляют. Отлежавшегося Семку для порядка спросят, что и как? Смеется в ответ белозубо: «Оступился, граждане, по пьяному делу. С кем не бывает»...

Стародавняя российская драчливая рознь, в которой больше было молодечества, чем настоящей вражды, местные власти, конечно, не радовала, спрос с милиции за всякий дебош учинился по всей строгости. Но строгость не исключала понимания, что старые, затвердевшие на живом теле раны лечит и сгла-

живает только время. Подерутся парни и помирятся: делить-то им нечего, шахты вон какие: всем места хватит. Мало одного уступа — бери два, рубай уголек в полную силу, набивай мощу.

Ребятишки в кино, на речку, в окрестные леса хаживали ватагами по полсотни душ, с полной боевой выкладкой: в одном кармане у пацана — заточка на манер ножа или гвоздь в полторы четверти, в другой — рогатка или поджига, порохом и рубленой проволокой снаряженная. На пустырях настоящие сражения разыгрывались. Шумели много. Камнями и палками бросались. Калечились и увечились. До убийства, правда, сражения не доводили. Ребятишки росли шустрые, увертливые. Да и были у них свои правила боя, честно соблюдались.

К милиции вояки относились с должным уважением. Стоило на пустыре появиться человеку в форменной шинели, как обе враждующие армии дружно пускались наутек. Не столько приводов боялись, сколько круговатых отцов. Старшие братья тоже умели работать широкими и твердыми солдатскими ремнями, поролы знаючи.

Ребятчи стычки официально не регистрировались как правонарушения, и разбор их оставляли на совести участковых. Но Ковалев понимал, что случившееся с Санькой выходит за рамки обычного озорства. Избили мальчонку не в запальчивости драки, жестокость была проявлена осмысленно. Кто-то стегал проволокой, кто-то держал Саньку, кто-то удары считывал и дегтем рубцы замазывал. «Не иначе его, как кулачонка, били», — сделал для себя вывод Ковалев.

Ковалев встречал те эшелоны с зарешеченными окнами, с запертыми на всякие замки дверями. Мрачными выглядели эшелоны, враждебными и молчаливыми. Мужики из тех эшелонов молча грузили на поданные подводы немудреный семейный скарб, молча молодухи

тетешкали завернутых в тряпье груденшей, молча старики со старухами становились на колени, кланялись поясно незнакомой земле, готовясь на этой земле не жить, а помирать. Потом всем миром молча строились в колонну и, ни о чем не спрашивая, шли в ночь, под конвоем конной милиции.

И обживатьься начали молча. Вырыли землянки, нарастили вместо стен пласты дернины, а из привезенных с шахты бревен и теса соорудили вокруг землянок глухие саженные заборы. Горе за ними свое прятали? Или звериную злобу, намертво схватившую горло? Перезимовав, избы поставили, надворные постройки подняли. Всяк для себя, всяк сам по себе. Нагляделся Ковалев на эту маяту. Тянет иной мужик лесину на верхний венец, аж борода у него от натуги ежом топорщится, но соседа пособить не позовет. Избы получились одинаково низкие, раскоряченные. Стайка ленилась к стайке.

Название поселку утвердилось каторжное — Сахалин. Наверное потому, что в городе поселок стал дальней окраиной.

Назначенный участковым, Ковалев пришел в поселок с наганом. Не лихости ради. Начальник Рудничного отделения милиции Пахомов так его напутствовал:

— В гадючье гнездо тебя посылаем. Народнишко там всеми святыми отпетый. Кто с Дутовым путался, кто с Антоновым миловался. И Колчака сибирские кулачки подняли. Кулак и раскулаченный кулаком. остается. Но это по социальному его происхождению, по натуре своей. Злости в нем на всех хватит. И надолго. Тут ухо держи востро. Любые эксцессы вероятны. Но по социальному положению кулак этот нынче — рабочий класс. Мы с тобой рассветами любимся, а он уголек для страны добывает. Такая, брат, диалектика. Соображай... Спать будешь ложиться, наган под подушку клади. Но стрелять не моги! Имеешь право только отстреливаться.

Поселок встретил Ковалева враждебно.

Молча встретил, вроде не заметил даже его появления. Чуть завечереет — тишина в поселке, как на кладбище. Одни кобели на цепях в бессильной ярости хрипят. Свет зажигается только в тех комнатах, окна в которых во двор прорублены. Темно на улице, хоть глаз выколи.

Днем — не лучше. Свет, он лишь поверху играет. Идет навстречу тебе мужик, распушив на обе стороны полы спецовки, и в упор тебя не видит. Не то что в душу ему — в лицо не заглянешь: шапку до самых бровей нахлобучил, ворот выше ушей задрал да еще и сгорбился. Девоч да молодых в поселке было с избытком. Их суженые, через одного, пожалуй, или положили чубатые головы под шапки бригады Котовского, ураганом пронесшейся по полям мятежной Тамбовщины, или за убийства сельских активистов и поджоги артельных амбаров отбывали сроки в лагерях строгого режима. Спят теперь девки с подушкой в обнимку. Случалось, ловил Ковалев на себе брошенные украдкой, тоскующие взгляды. Но стоило ему на тот взгляд обернуться, как видел он перед собой только серые, повязанные по старушечьи шали. Ребятя и та не любила на улице играть. Понакопали себе нор под саженными заборами, к стайкам лестницы приставили. Через норы да по крышам стаяк друг к другу шастают. Тем же путем выбираются за поселок на лесные луговины, к залитым водой шахтовым провалам.

Конечно, так не бывает, чтобы рядом жить и нос к носу не встретиться. В одном колодце воду черпаешь, в одном магазине хлеб покупаешь. Участковый тебе не столб, можешь с ним не поздороваться, а обойдешь не всякий раз. Тому понадобилось народившегося ребенка зарегистрировать, другому — внезапно появившегося родственника прописать, третьему — подошел срок посылку в лагерь отправить. Ищи тогда его, Ковалева. Надумал ты, скажем, корову купить или поросенка, а как отлучиться без спросу?

Семейные неурядицы тоже наружу выплескивались. Тут уж участковый и без приглашения появится. Служба. И постепенно эти поселковые житейские хлопоты становились хлопотами Ковалева, его работой. В Рудничном отделении за ним даже название утвердилось «особо уполномоченный по делам недобитых и раскулаченных». Насмешки эти порой доводили Ковалева до бешенства. Но настроить себя на враждебный к поселку лад он не мог. По характеру незлобивый, отходчивый, он всякую человеческую беду принимал близко к сердцу, упрямо стремился этому человеку помочь, если правота была за ним, а не за тем, кто по дури эту беду накликал.

Да и шахта постепенно свое, нужное дело делала. Сама великая молчунья, она не шибко жаловала молчунов, требовала говорить с ней громко и внятно, правдиво говорить, без лукавства. Шепни-ка, а она тебя не услышит, соври-ка — а она тебе не поверит... Иван Логунов в завалто как попал. Не спросясь у сменного горного мастера, один полез в штрек, которому перекрепка требовалась. Ну и прихлопнуло его там, как мышь в мышеловке. Одни это сами видели, когда Ивана откапывали, другим, кто не видел, очень даже толково разъяснили, что артельная работа артельно гоношится, что в шахте, как на корабле, каждый и за себя, и за всех в ответчиках.

Ночные этажные эшелоны людей и ростом и видом выравнивали. В сопроводительных документах на раскулаченных, сколько их участковый не читай, не вычитаешь, кто в приземистой избе злобу копит, а кто в ранее содеянном искренне раскаивается, к новой жизни прилаживается. Анкетной бумагой истинно человеческое в человеке хуже, чем шторкой заслоняется, наперекось даже бывает. Семен Слигин грузчиком на Волге работал. А зятем стал богатея лабазника. Вот и пойми: кто он?

С год, однако, прошло, пока Ковалев с Семеном Слигиным без анкеты познако-

мился. Недобро знакомство началось. Но добром окончилось. В комнатуху участкового забежала шустрая девчонка и с порога зачатила скороговоркой:

— Дяденька милиционер, дядя Слигин Нютку свою убивает.

По улице, привычно безлюдной, пьяный Слигин, по пояс голый, но в сапогах с галошами, шел спокойно и неторопливо. Нютка волочилась за ним покорно, даже не пробовала освободиться, только ойкала негромко, когда Слигин перехватывал поудобнее косы, выскальзывающие из горсти.

— А ну стой...

Слигин тупо, незряче уставился на заслонившего ему дорогу Ковалева, аккуратно опустил Нютку на землю, шагнул вперед и ткнул перед собой кулаком. Ковалев перехватил ему руку у запястья, рывком кинул податливое тело через бедро. Галоши улетели в канаву, сам Слигин упал на спину, грузно упал, как припечатался. И тут же на Ковалева грузно нависла Нютка, завопила:

— Караул! Спасите!

Слигин поднялся, цыкнул на Нютку и, скорее удивленный, чем рассерженный тем, что с ним произошло, мирно, без злости спросил:

— Это как же ты меня осилил? А?

Осилить Слигина, и правда, было не просто. Ковалев вроде даже свое геройство за этим почувствовал. И злости в нем не было: встретились два мужика на улице, силу свою попробовали и разошлись с миром и по-хорошему, чтобы опять каждому своим делом заняться.

— Может, еще раз приложить? — пошутил Ковалев, отвечая на вопрос Слигина.

— Да неужто опять осилишь? А? Давай попробуем.

Слигин как-то сразу протрезвел, подобрался, взбугрил мускулы.

— Ладно, ладно, — отмахнулся Ковалев. — Я тебе не клоун, чтобы посреди улицы спектакли разыгрывать. Галоши вон подбери.

III

За нападение на милиционера Слигину грозило тюремное заключение. Но Ковалев не стал сообщать об уличном происшествии. И скоро почувствовал, что поселок поставил ему это в заслугу.

Слигина в поселке знали. Нашлись свидетели тому, как на Волге он один загрузил на спор мешками с мукой пузатую вместительную баржу. Приз купцы установили крупный, расплатились честно. С такими деньгами оборотистому человеку можно было лавку открыть. А Слигин в один день их в карты проиграл. И Нютку за себя взял, как берет матерый волк овцу, подмал девку, а на ноги уже бабой поставил. Тестя тоже радостью не обделил, мало того, что тот нажил дармового работника, но еще получил и заступника от всяких лиходеёв: его лабазы, боясь Семена, ворье далеко стороной обходило. На шахте Слигин определился в навалоотбойщики. Уголь из-под обушка у него рушился глыбами. Крепежные стойки не кувалдой, как прочие, а кулаком по ранжиру выравнивал. Состав груженных вагонеток забурится — лошадь его не стронет, на колени падает. Слигин подойдет, надавит каменным плечом: пошли-поехали. Быть бы ему в первых ударниках, да характером мужик не соответствовал. Силу свою Слигин как будто по жребию вытянул, не берег и тратил без ума, не по назначению. Пил запоем. А пьяный был зверь зверем. Курицы поселковые и те в подворотни прятались, когда он в буйство ударялся. Слигина поселковые не только побаивались, но и уважали. Ковалев вот что стал примечать: зайдет к нему Слигин, потолкуют они о том-о сем, вдвоем вроде разговаривают, а назавтра этот разговор весь поселок как бы на второй раз обсуждает. Нютка — соседке, соседка — куме, кума — мужу к завтраку на свертсытку. Всему этому заборы не помеха. И Слигина болтуном не назовешь: сказанное даже вгорячах он в свою пользу не оборачивал, не искал себе выгоды.

Но поворачиваться к Слигину спиной Ковалев не любил. Рвала Слигина жизнь не на две — на четыре стороны, а он, как стреноженный бык, все по кругу ходил, решая: то ли шею под ярмо поставить и жевать сенцо в яслях, то ли вздыбить хозяина на рога и бежать на вольные выпаса. Забрела в поселок компания чужих парней. Начали куражиться, безобразничать. Частушки срамные запели про местных девок. Ковалев в отлучке был, так Слигин сам порядок навел. Сложил из парней поленицу, чуток примял их, чтобы шибко не брыкались.

Ковалев, вернувшись, Слигина похвалил за инициативу. А тот в ответ обидное ляпнул:

— Ты, милицейский, погодь меня в бригадмил зачислится.

Ковалев рассердился.

— Дурак тебя, Семен, делал да еще на пьяный манер. Бродишь по жизни как неприкаянный. Что ищешь? Здесь сена клок, а там — вилы в бок?

Слигин поморщился, головой сник:

— Скучно мне, Степан. Простору нет. Душно. В шахте душно. На улице душно. Сижу вот с тобой, а изнутри к горлу давит, как с перепоею.

— Во-во. На простор поманило? Думаешь, меня не манит? Не в этом вопрос. Вопрос в том — зачем поманило? Баржи на Волге грузить? Возьми меня в напарники. Не отстану. Ничего в воду не уроню. Или тебе захотелось на струг? С кистенем в алом кафтане?

— Мне так и так ладно.

— Тебе-то ладно. Да мне-то не все равно. Ты пока алый кафтан будешь натягивать, я в нем семь дырок просверлю.

— Успеешь?

— Успею. Наука нехитрая. Я ее назубок выучил.

— Молод ты, Степан. До смехоты молод. Я в гражданскую на «Вапе-коммунисте» пушкарем плавал. Хорошо пла-

вал. Обшили в порту буксир котельным железом, шестидюймовки на палубе поставили. И поплыли по Волге-матушке. Свобода! Каждый день как на свадьбе гуляешь. Гуляй аж до Персии. Беляков потрошили и своих хоронили. Всяко было. Так ведь то жизнь была. Настоящая, просторная. С громом матросики революцию утверждали.

— Что-то в бумагах эти твои подвиги не отражены. Смолчал, что ли?

— Так меня ж не на «Ване-коммунисте» брали. В другой я тогда стоял гавани. На мертвом якоре стоял. Другое и записано. Правильно записано. С моих слов. При свидетелях.

— И еще раз дурак. Я эту твою промашку исправлю. Запрос пошлем.

— Мою промашку, Степан, тебе не выправить. Она, промашка-то, совсем не там, где ее ищешь. — Слигин тяжело, с хаканьем, перевел дыхание, расправил плечи. — Открой-ка окошко пошире. Сидишь в этой комнатухе, как сурок в норе, на зиму запечатанный. Дыхнуть нечем. Или боишься, что в твоём кафтане тоже могут дырку сделать?

— А можно, выходит, не бояться? — напрямую спросил Ковалев.

— Можно, — твердо сказал Слигин. — Старичок тебя один пасет. Вредный старичок, а за тебя молится. Ты ведь приютит бесприютного...

...Старичок в потертой плисовой шубейке пришел в поселок, толкая перед собой тачку с гробом. Тесовым, плохо обструганным. Пришел, судя по всему, издалека, устал до пота. Отдохнуть сел на лавочке у дома Марьи Логуновой. Тут же спать устроился. Лег в гроб и сам крышкой, как одеялом, укрылся. Утром Ковалев к нему с расспросами. Кто?.. Зачем?.. Откуда?.. Старичок на вопросы не ответил, из гроба не поднялся. Смотрел мимо Ковалева на просветлевшее небо и блаженно улыбался, будто во сне маковый пирог увидел.

— Что божьего человека мытаришь? — напустилась на Ковалева Марья.

Обострять отношения с Марьей Ковалев не хотел, отступился. Черт его знает, по какому параграфу проходят блаженные? Стороной потом дознался, что Марья приняла старичка в дом, обстирала, в баньке попарила, вяла его на прокорм. В разговорах с бабами старичок не вступал, ни на что не жаловался, лежал себе в гробу, поставленном в сенях на табуретки, и своей, а не чужой смерти ждал. Вроде бы и непорядок, но и строжиться Ковалеву нет повода. Он даже себя похвалил, заметив, что расположение к нему со стороны баб явно улучшилось. Это же кому на пользу? Они ведь, бабы-то, не только с ним, с новой властью учатся здороваться. Не бурчать, рыкать в ответ ему служба велит, а вежливо раскланиваться.

IV

Как-то, обжившись уже, завернул Ковалев на вечерние посиделки. Гостем зашел, без нагана, одетым не по форме, в рубахе навывпуск. Парни по-своему поняли, чего ради пришел, потеснились, освободив краешек лавки. Холостому дорога на посиделки не заказана. Девка, пока не засватана, — товар общий, покупной, ходи, приценивайся, выбирай по сердцу.

Разговор повел Митька Разгон, вертикальный и черный, как жужелица.

— Хлопцы вот помнят, как мы в горе Конек штоленку пробивали. Работали, — Митька воровато глянул на Ковалева, подмигнув, — в три смены, ударными методами. Спешили по телу закончить. И премиальные были обещаны богатые: хоть потом на те деньги сам весь месяц пей, хоть девок пряниками и леденцами корми. Упирались, значит, мы бригадно изо всей мочи. Но шахта, она и есть шахта. Темно там и сыро. Только и хорошего, что комары не водятся. Комар, он метана боится. А человек боится одного мастера. Так вот... В субботний банный день пошабашили чуть пораньше. Хлопцы на-гора подались. Меня же черт дернул задержаться. Надо, думаю, поря-

док навести. Приборочку сделать. Хожу это по забою. Там подмету, здесь подотру, пыльцой осланцовочной припудрю.

— Больше-то некому? — спросила Сима Волозова, давняя по Митьке воздыхательница.

— А без меня, как в пивной без штопора, не обойтись, — отозвался Митька беспечно. — Вдруг слышу: крепь запела. Да на высокой ноте. Глянул через плечо и обмер. Садится кровля, сама рушится. Честно признаюсь, струсил самым постыдным образом.

— В штаны, что ли, навалил? — поддела Митьку Дуся Чумакова.

— Не успел, любушка. Желание было, но времени не хватило. Гора на меня падает. Стойки уже скулят, как щенки некорыленные. Особенно одна мне не приглянулась. Тоненькая, хлипенькая. На тебя, Дусенька, смахивает. Посередке малосенный сучок пупочком выширает.

— Это когда же я тебе свой пупочек показывала? — возмущенно воскликнула Дуся. — Ты ври, да не завирайся.

— Так я ж совсем не к тому. Я про тот пупочек, который у стойки. Рванули мы тогда по три упряжки от души. Лесок крепезный весь в деде ушел. Перехватиться нечем. Хоть караул кричи. Но разве же диспетчер услышит. Он же в кабинете своем высоко на поверхности сидит.

— Бежать надо было, — подсказал Иван Трошин, напарник Митьки по забою и дружок закадычный.

— Шахтер ты, Иван, со стажем, — не принял подсказку Митька, — а что посоветовал? Кровле же только дай тронуться. Она потом любого бегунца на первом шаге прихватит и задавит. И убыток огромный намечался родному государству. — Митька опять глянул на Ковалева. — Ведь вот и милиционер, поди, знает, что разбирать завал — денег стоит. Время теряется. А время опять деньги, как учит нас наука политэкономии и партийный комиссар на шахте товарищ Степаненко Александр Иванович.

К тому же личные шкурные интересы нельзя со счетов сбрасывать. Обещанных премиальных до слез жалко. Может, я жениться надумал? А на какие шиши? Батька только брать ловок. Обратно у него не выпросишь. А мне запас не худо иметь. Расходы предстоят немалые. Дусеньку после свадьбы не меньше года придется откармливать.

— Гляди-кось: жених? Ни голосу, ни волосу — одни сопли на носу, — быстро отговорила Дуся.

— Ну, сопли вытирать ты и такая сгодишься. Столкнемся. — Митька, отругиваясь, не терял нить разговора. — Прихватил я бревешко кособокое. Приладил рядом с тоненькой. Но чувствую, что бревешко-то, напарник, с гвильцой, и получается не опора оно мне в совместной жизни. Куда деваться? Вопреки всем мудрым правилам техники безопасности, от отчаянности и безвыходности становлюсь, значит, рядом. Тоненькая-то уже округляться начала, животик выпятила, того и гляди пупочек у нее развяжется. Обнял ее, как суженую, давлю в нужном направлении из всех мужских сил...

— Смотри и вправду раздавишь, — усмехнулась Сима.

— Мышь копы не боится. Тут другая беда. Сил моих мало. Жмет на темечко вся Конек-гора.

— Еще прибавь атмосферное давление, — замечает Иван Трошин.

— Прибавим. И что получается? Тяжело получается. Даже зубы скрипят и крошатся. Пуще того обида гложет. Соображаю, что за ради субботнего дня матери блинчиков напекли, логушки с брагой открыли. Пир горой и кружок звон.

— В ушах звенело? — спросила Дуся лукаво.

— Ты не ехидничай, — одернул Дусю Иван Трошин. — Удивительно, как в живых человек остался. Когда мы в понедельник на смену пришли, Митька по пояс загруз. А почва в забое — песчаник. Гвоздь не забьешь — гнется. Едва ударника откопали.

— А тоненькая? — напомнила Дуся.

— Вместе их откопали. Митька ее потом домой уволок. На кровать себе положил. Потому и не женился.

Ковалев в разговоре не принимал участия. Но было в том разговоре и для него сказано. Про тоненькую Митька не зря болтал. Походила тоненькая на Дусю, очень даже походила. Бревешко кособокое с Ковалева Митька срисовал. Про гнильцо от себя добавил. И Дусе в том разговоре предупреждение: не там напарника ищет.

Но все это не рассердило Ковалева. Он в поселке жил по своей воле, мог и лучше выбрать местожительство. Он был тут представителем власти. Не Ковалев прижалел Слигина. Не он разрешил Марье старичка приютить. Власть прижала и разрешила, потому что была она советской властью, всякий раз являлась такой, чтобы ее не только боялись, но и уважали, верили ей, видели в ней свою единственную справедливую заступницу. Любые перемены к нему Ковалев воспринимал как перемены в отношении к той власти, представлять которую ему доверили. Давно ли ни за какие деньги и ни в одном доме он не мог купить крынку молока или десяток яиц. Не потому, что молока и яиц не было: обжились хозяева, обзавелись скотом и птицей. Молока и яиц только для Ковалева не было. А теперь грузная и молчаливая Иваниха, у которой он снимал угол, прикармливает его домашними ватрушками. Как бы поздно ни вернулся Ковалев, в печи его обязательно ждал чугунок с наваристыми щами. Это понимать надо. Русская баба не к каждому постояльцу приветлива, у нее и ухват всегда под рукой, долго ли ей до того ухвата дотянуться.

Случай с Санькой Логуновым упал тяжелым камнем на тонкий лед. Можно было ждать, что ядреный сибирский морозец и время сами по себе затянут разбежистые трещины. Но Ковалев не хотел ждать, полагая, что ему ждать времени нет.

V

Участковым на Заречных улицах был Федор Курганов, одинокашник. Ковалева по милицейским курсам. В органы Федор попал по комсомольскому набору. Помнил это, гордился своим пролетарским происхождением, отличался нетерпимостью к тем, кто, по его мнению, руководствовался в работе не классовым чувством, а какими-то иными мотивами.

Встретились как хорошие приятели. Федор сноровисто собрал немудреный холостяцкий ужин. Когда насытились, спросил:

— С чем прибыл, укротитель?

— Ты что, сблажал? Какой я тебе укротитель?

— Разъясню. Евдокия Чумакова на территории вверенного тебе поселка только счастливые сны смотрит. К рабочему люду она на моем участке общается. Видел ее недавно. Ловкая шельма. Этого не отнимешь. Кисть малярная тяжелая. Она ребячьими своими пальчиками-расстопырками ее едва охватывает. А колер кладет ровненько — художник позавидует. Дуся молчит, а подружки ее песню поют.

Федор картинно пригорюнился, рукой голову подпер, протяжно, с надрывом вывел:

И понравился ей укротитель зверей,
Чернобровый красавец Степаша...

Ковалев недоуменно пожал плечами. Федор пояснил:

— Народное творчество называется. Рифму, конечно, испортили. Вместо всем известного Андрюши какого-то Степашу вставили. Но похож Степаша. И чернобровый. И красавец...

— Ну, знаешь...

— Я-то уже узнал. А Пахомов узнает? Он спросит, как ты с девками клеймеными про любовь изъясняешься? Наган им к носу? Или в воздух пуляешь, чтобы скорей растелешились? Или что похуже придумал?

— Пахомову и ответу. Сам-то что на стройке потерял?

— С организацией труда знакомился. Жалоба пришла от баб. Коллективная. Вроде их десятник в бесправии держит: нормы завышает, зарплатой обижает. Пришлось тихонько предупредить десятника.

— Надо было погромче.

— Это зачем?

— Чтобы бабы услышали.

— Ишь куда метнул. У десятника-то два года за спиной партизанских. Партбилет в кармане. Это я должен учитывать?

— С тобой говорить, все равно, что воду цепом молотить. А если жулик тот десятник и сволочуга? Он себе карман за чужой счет набивает, а ты с ним шепчешься.

— Давай, давай. Расскажи мне, как кулаков в советскую веру перекрещивать. Пустое, друг мой, занятие. Хрен, хоть в чистую изотри, он все одно глаза щиплет. Батяня той Евдокии был первейший мироед. Батрачки на его десятинах не потом, а кровью умывались.

— Теперь десятника в мироеды определим?

— Не тронь, Степан. Это не тронь. Поссоримся.

Для Федора Курганова не существовало отвлеченных истин добра и зла. Истины эти для него всегда были конкретными. Кому стало хорошо? И кому стало плохо? Ответ на эти простые вопросы он находил сам. Тихон Чумаков с двумя сыновьями ушел в плавни не рыбу ловить. Ушел с винтовкой отстаивать свое право владеть десятинами кубанских черноземов, право вести хозяйство, как деды наказывали, как сам наловчился, получая на круг по сто пудов пшеницы там, где другой получал любую половину. За то сам голову сложил и сыновей под расстрел поставил. Жалко? Федору не жалко. Он себя спрашивает и себе отвечает. Дуське стало хуже. Это яснее ясного. Матери ее стало совсем плохо. Она-то,

как всякая мать, тех расстрелянных под сердцем выносила, родила в муках. Но кому-то стало и лучше. Выбираясь из плавней, Тихон Чумаков не по чучелам, по живым, тоже чьим-то сыновьям целил. Посельщикам его стало лучше. Стране стало лучше. Всякую иную правду Федор не признавал. Ковалев — парень свой, проверенный. Должен осознать и общего строя не ломать. Правда, в последнее время «особо уполномоченный по делам раскулаченных» с ноги сбивается. Слух прошел, что на посиделки похаживает. Вот об этом ему стоит напомнить.

Прерывая затянувшуюся паузу, Федор с укором сказал:

— Скоро ты, Степан, про Лясоту забыл.

Ковалев в ответ недобро сверкнул глазами. Лясоту он не забыл.

...Банду в сосновом бору они брали ночью. Курсантам, поднятым по тревоге, пришлось выдержать настоящий бой. Бандиты были хорошо вооружены, патронов не жалели, а командовал ими бывший офицер. Толково командовал. Организовал круговую оборону, превратив землянки в блиндажи. Крови за бандой числилось много, на помилование никто не рассчитывал. Отбивались яростно. В том бою и погиб Лясота. Впереди Ковалева кинулся он в нору землянки. Офицер не промахнулся. В упор стрелял сначала по стоячему, потом по лежащему. Не просто ударил, добил. С усмешкой добил. Потом себе дуло нагана в рот сунул. Упал с развороченным затылком.

Помнил Ковалев, как мучительно трудно умирал могучий Лясота, как расстрелянно билась на его могиле жена...

— В банде той двое кулацкого племени были, — добавил Федор. — Неужели и про это запомитовал?

И это не запомитовал Ковалев. Но он еще помнил, что в том сосновом бору они не три, а восемь трупов подыали. Те, двое из кулаков, нашли то, что искали, знали, к какому берегу гребли. А еще пятеро? Пятеро молоденьких, почти маль-

чишек. Их так и не опознали. Без имени, без памяти зарыли. Однако по наколкам, по кепочкам, каких не носили бывшие офицеры, по сапогам гармошкой, нетрудно было догадаться, что в первый-то раз эти пятеро, может быть, с голодухи за чужим куском потянулись. Они за себя ответили. Но и за них кто-то должен ответ держать, за долю их сиротскую, за голодуху, за то, что в руки им вместо рабочего инструмента бандитские шпалеры попали? Но Федору этого не докажешь.

— Кто у тебя пацанами верховодит? — спросил Ковалев.

— Предположим, Витька Шестаков у них за главного.

— Возьму я сегодня этого Витьку без предположений. Судить его надо. Зверенышем себя показал.

Ковалев коротко рассказал, как зареченские ребята жестоко и обдуманно избили Саньку.

— Представляешь, какой гвалт стоял в поселке!

Представить это было нетрудно. Картина вырисовывалась кособокая. Но у Федора и для нее нашлась своя подсветка, чтобы что-то ярче выглядело, что-то в тень ушло.

— Странно рассудил, — сказал он неприязненно. — Хочешь из-за кулацкого последыша своего же парнишку обидеть.

— Я хочу, чтобы свои парнишки не росли бандитами. Чтобы не было на земле кулацких последышей.

— Так, — недобро вскинулся Федор. — Тогда шагай за мной.

VI

В дощатом, с общим коридором бараке Шестаковы занимали угловую комнату, разгороженную цветастой ширмой. Седая миловидная женщина, одетая просто и опрятно, встретила Ковалева и Федора без тени робости, не обеспокоившись приходом милиции. С деревенской обходительностью, оказывая гостям свое расположение, она чистой тряпкой смахнула

с табуреток воображаемую пыль, пригласила садиться. Уверенное ее спокойствие несколько сбilo Ковалева с толку: у себя в поселке он уже по привычке к тому, что встречи с ним люди всячески избегали, а когда избежать этой встречи было нельзя, как-то терялись, становясь то навязчиво слезливыми, то молчаливо угрюмыми.

Первым спросил Федор.

— Дрова вам подвезли, Анна Савельевна?

— Спасибо, Феденька. За дрова спасибо. Чурочки одна к одной. Все береза да береза. Витюша за неделю эвон какую поленицу сложил. Товарищи его подсобили. В тепле перезимуем.

Федор по характеру был резковатым, нетерпеливым. Да и милицейскую работу он так понимал, что не сам к ней, а ее к себе принаравливал. Милиционер — человек с оружием. Этим для Федора все и наперед было сказано, остальное лишь придумывалось. Вот — наши, вот — ваши. Ты же действуй так, чтобы ваши у наших под ногами не путались. Наладим жизнь, потом разберемся, кто прав, а кто виноват. Главное, чтобы не ты дрожал, а чтобы тебя боялись. Убивать боялись, грабить, насильничать. Однако Анну Савельевну, как заметил Ковалев, Федор спросил участливо, ответ ее выслушал с вниманием. Ответ этот Ковалеву тоже не показался затянутым. Сказано было только нужное, о том, что Анна Савельевна ценит заботу Федора, но принимает ее с достоинством и на новую заботу не напрашивается. Сказанное исключало необходимость что-либо уточнять, и Федор замолчал, предоставив инициативу Ковалеву: «Спрашивай, о чем хотел спросить, если язык повернется».

Язык у Ковалева что-то плохо поворачивался. Ковалеву вдруг показалось, что он пришел не туда, куда шел. Рассчитывал застать в этой комнате задиристого ватажного Витьку, росшего бандитом, привыкшего врать, отнекиваться, извращиваться. Мать Витьки ему тоже пред-

ставлялась другой. В подобной обстановке он готовился действовать и знал, как действовать. Доказал бы виновность Витьки, а его мать урезонил окриком. Но Витьки здесь не было. Не жил в этой комнате ватажный Витька. Здесь, оказывается, жил Витюшка. И этот Витюшка всю неделю не ватажничал, а исправно колол березовые чурочки. И товарищи ему подсобили. Его мать не требовалось урезонивать окриком, с ней можно было только советоваться.

— Давайте я вас чайком попою, — сказала Анна Савельевна.

Сказала так, что отказаться сесть за стол было просто неприлично. Но того неприличнее показалось Ковалеву сесть за стол и пить чай, держа камень за пазухой.

— Извините, Анна Савельевна, — сказал Ковалев. — Я ведь к вам с бедой. Мальчонку у нас одного побили. Сильно побили. Проволокой стегали и рубцы смолой замазывали. Книжку у него отобрали и в костер бросили. Про Буденного книжка, про Семена Михайловича. Библиотечная, значит, книжка. И мальчонку спать же, жаль, сирота он... Отец в шахте погиб. Мать непутевая, запойная. Тиран, а не мать. Непорядок это, Анна Савельевна, маленьких обижать... Выходит, не повезло ему в жизни. Царапает его жизнь по сердцу. Сам вижу, больно царапает. А мальчонка смышленный. Не скажу, чтобы хулиганистый. Себя соблюдает, за сестренками — их у него двое — присматривает. Огород содержит. Еще козу пасет. Это для того, чтобы часок выкроить книжку почитать. Учитя хорошо... В общем, я к нему без претензий. И нельзя опять же нам тиранство прощать. Во вред нам тиранство. А без Витюшки не обошлось. Среди зареченских ребят он за коновода... Повидать мне его надо. Поговорить. Служба, понимаете ли, наша такая, милицейская.

Ковалев говорил трудно, путанно, боялся, что не поймет его Анна Савельевна или как-то не так поймет, как надо по-

нять. Но боялся, оказывается, не того, чего надо было бояться. Понять Ковалеву Анна Савельевна поняла. Только не поверила тому, что он говорил. Головой покивала: слушает, мол, внимательно слушает, а глаза улыбочиво щурит: вот де, решил ее незнакомый человек попугать, а она не испугалась.

— Товарищ мой участковым на поселке Сахалин работает, — пояснил Федор. — Это там, где раскулаченные проживают. Ну, сволота разная.

Теперь она поверила.

— Так оно, видать, и было, — согласилась Анна Савельевна, — Витюшка с вечера сам не свой гляделся. Всю ночь не спал. Ворочается и шебаршит, как таракан. Я-то думала, возрастное что парнишку беспокоит, сны не те снятся. Про себя уже решила к себе за ширму забрать младшеньких. Одному-то, глядишь, ему поспокойнее будет... А тут беда-то вон какая. Мальчонка избитый, поди, больше его мается. И мой вот запропастил. За хлебом бы пора послать. Сама я на ходьбу стала слабая. Чуть на улицу ступлю, и одышка одолевает. Сижу больше и лежу.

— Да вы не беспокойтесь, Анна Савельевна. Все устроится. Найдется Витюшка. За хлебом мы с товарищем Ковалевым запросто можем прогуляться.

— И совсем ты не о том говоришь, Феденька. Товарищу вот Ковалеву надо рассказать, что Витюшка — не изверг. И мальчонка тот страдалец. Слыханное ли дело проволокой пороть? Я перед его матушкой, как перед богородицей, на коленях буду стоять, пока прощенье не вымолю.

Анна Савельевна вдруг покачнулась, выхватила из передника кружевной носовой платок, приложила его к губам и зашлась в сухом, надрывно трескучем кашле.

VII

Сибирские притаенные деревни только названиями разнятся. С виду же все

одинаковые, одной стороной жмутся к вековому нетронутому бору, с другой от прочего мира речкой отгорожены с перекидным деревянным мостом. Потаенные деревни, ведущие свою родословную от старообрядческих скитов и казачьих острогов. Ставлены не только для жилья, для обороны тоже. Поля за речкой. И пастьба за речкой. Речка тот рубеж, из-за которого удобно метать стрелы в конную лаву. Если покопаться в податливой дерни заливного луга, обязательно наткнешься или на кривую, истонченную казачью саблю, или на граненый наконецник татарской стрелы с дыркой для устрашающего свиста.

О такой деревне рассказывала Анна Савельевна, пересиливавшая надрывно трескучий кашель. Слушал Ковалев, а видел такую же, но другую деревню, в которой сам родился.

...Выстрел из маузера в тишине утра переломился сухим сучком, попавшим под ногу неосторожно ступившего в тайге человека. В ответ раскатисто и голосисто ударил укороченный кавалерийский карабин.

Гулкое эхо вскинулось к небу, слепо упало на землю, звякнуло в окошки сонных изб, поплутало по извилистой улице, выкатилось на заречный простор и ходом, словно расшалившийся жеребенок-стригунок, запрыгало в верховья Плескачихи, к вечно стылým белкám.

Лукьян Болохов выскочил на крыльцо в исподнем, стряхнул в темень сеней повисшую на нем Феню, прикрыл за собой дверь, раскоряченно зашагал к воротам, ухватисто зажав цевье берданки. Заметив прятавшегося за копейкой Степку, хрипло сказал:

— Стреляли, вроде?

— Дважды. Сперва из маузера. Потом из карабина жажнули.

— Тогда заскочи к Фене. Пусть мне одежонку выкинет. И сам носа из дома не высовывай. Карабин — штука убойная.

Черная Тяжина, через которую сначала на запад, а потом на восток с воем и грохотом прокатилась гражданская война, проснулась как по тревоге, в полной готовности. Когда Степка за руку с Феней, побоявшейся остаться в избе, перелазами прокрались к сельсовету, там уже толпился народ. По подворью снова приехали, серые с лица милиционеры. Их усатый начальник в просторной кожаной куртке, с совиными немигающими глазами, наскоро переговорив с Лукьяном Болоховым, подвел его к мужику, лежащему навзничь.

— Ваш?

— Однако наш. Софрон это, Губин, — сказал Лукьян Болохов и потянул усатого за скользкий рукав тужурки. — Ты бы, паря, посторонился. С ним рядом стоять, как со смертью в прятки играть. Один ведь лежит. Значит, второй братан где-то рядом кружит.

— Откружил и братан. Несут вон.

За войну в Черной Тяжине всяких смертей повидали. Опасливо сторонились тут живых. Мертвые же вызывали скорее не страх, а любопытство. Когда из сельсовета вынесли Родиона Губина и положили рядом с Сафроном, толпа сгрудилась потеснее, задышала чаще и горячее, но не откачнулась, ближе придвинулась.

Братья Губины были чернотяжинские поселыщики. Здесь народились, здесь суровому кержацкому богу молились, здешних невест засватали. После смерти отца, взявшего в тайге золотой фарт, богатство делить-половинить не стали, пустили в оборот. По весне в степных селах скупали за бесценно отощавшую от бескормницы скотину, занимали гуртоправов, гнали стада на заливные притаежные луга. Вольным выпасом, из-под ноги те бычки и коровенки наливались особенно ценившимся у прасолов мраморным на вид мясом. Потом к зерну приохотились, мельницы поставили, крупорушки. Сами с семьями в город перебрались, оставив родовую дом под присмотром набожной

вдовой тетки. Наезжали в деревню не часто и кутили тогда напропалую.

Далеко вознамерились шагнуть братья Губины, да не случилось им на ту пору попутчиков. Революция, словно рукастая русская баба квашню, завела-затворила жизнь на новой, хмелем ударившей в мужицкую голову опаре. Медведицей, до времени тронутый из объятий берлоги, вздыбилась разъяренная Сибирь. Со слепу кинулась с Колчаком на седой Урал, захлебнула горячей ноздрей своей и чужой крови, осела свирепо, попяtilась и закружилась в коловерти очистительных мятежей и пожаров, в муках понимая великую истину, кто для кого сват и кто для кого работник. В бешеных сабельных сшибках на родных поскотинах брат валил с седла брата, белый от ненависти отец принимал на вилы-тройчатки чахоточного, хватившего германских газов сына.

К Черной Тяжине, куда в смутную пору перебрались их семьи, Губины тоже подступали. Надеялись мирно с поселщиками договориться. Не получилось. На перекидной через Плескачиху мост вышел один против двоих Лукьян Болохов, оперся на берданку, сказал твердо:

— Вертайтесь. Мир решил не допускать.

Губины упорствовать не стали, понимали, что Черную Тяжину налетом не возьмешь. Мост узкий, встречным не разъехаться. Избы на взгорке стоят, как крепости. Не то что пулей, снарядом не всякую с места сдвинешь. А стрелки в те избы сядут умелые — не промахнутся.

— Дозволь, Лукьян, с ребятишками повидаться, — попросил Софрон.

— В баньке бы попариться, обовшивели все, коростой взялись, — добавил Родион.

— Не могу дозволить, — отказал Лукьян Болохов. — Как тут дозволить? А за ребят не сомневайтесь. Не голодуют. Здоровы. Крепенькие. Вашей, значит, губинской породы.

— С севом-то что припозднились? — спросил Софрон.

— А это, кому как покажется, — ответил Лукьян Болохов. — Весна, вишь, какая удалась ранняя. Старики толкуют, быть в июне заморозкам. Запросто могло бы прихватить пшеничку.

— Старикам виднее, — согласился Родион. — Тогда прощевай, Лукьян. Совет мой прими напоследок. Не ходи далеко в тайгу.

— И я тебе, Родион, присоветую. Встаньте вы с Софроном около двух сосенок, прицельтесь хорошенько друг в дружку и стрельните по команде. Кому мир в приюте отказал, тот все одно не жилец на этом свете. В Черную Тяжину вам дороги нет. Порешим.

Растаял отряд Губиных, как дым костра в сырой ночи. Был слух, что распустили братья свое воинство, подались в Горную Шорию, недолго повластвовали над отдаленными улусами и будто бы сгинули от цыгги. А дело-то вон как обернулось — выжили. Потянуло их к родному порогу. Родились близнятами в один день. И смерть приняли вместе.

— За каким бесом их сюда занесло? — недоуменно сказал усатый.

— Видать, была приманка, — рассудительно заметил Лукьян Болохов.

— Правильно поясняешь. Только уж валяй до конца.

— Не видать конца-то. С народом надо посоветоваться, спрашивать.

— Давай спрашиваем.

— Тебе не скажут.

— Мне скажут. — Усатый похлопал по коробке маузера.

— Те вон тоже на испуг брали. — Лукьян Болохов кивнул на Губиных, лежавших как бы в обнимку. — У них ни хрена не получилось. И у тебя не получится.

— Смотри сам, если дальше видишь. Я ведь не властью тешусь. Карабины у этих двоих чистенькие, как с оружейного склада. Смазка, правда, убрана. Кто же

тогда стрелял? Арифметика подсказывает, что был третий.

— Если в тайгу ушел, не возьмешь. Лето следы не держит. Собаки человека тропить не приучены.

— В тайгу ему ходу нет. В деревне прячется.

— Может, и в деревне. Тут, в куче со всеми и трется. Но не пойман — не вор.

— Не пойму я тебя, гражданин, — рассердился усатый. — Крутишь, виляешь. Я мимо ехал. Завернул сюда на выстрелы. Кончилась пальба, опять мимо поеду. А вы как? Не сыщете третьего, будете ходить, как приговоренные. Любого среди белого дня на мушку посадит.

— Так искать ведь с толком надо, — начал горячиться и Лукьян Болохов. — Ты ускачешь, а мне жить здесь.

Из-за угла сельсовета, растолкав жидкое милицейское оцепление, вывернулась необъятно толстая Макариха, которая, казалось, ходит каждый год на сносях, только разродиться забывает. Напирая на спорящих мужиков тугим животом, Макариха заголосила:

— Закрыла милушка ясны глазоньки. Не шелохнется лежит, не ворохнется. Мочи нет глядеть на горемычную. Прими господи душу светлую, раствори врата райские. Не своей волей кончается. Погубили вороги беззащитную, безответную.

— Кто кончается? Кого погубили? — Лукьян Болохов подступил к Макарихе. — Сказывай, как на духу.

— А я что делаю! — Макариха в сердцах ногой-тумбой топнула. — Я ж дурным и поясню, что комиссаршу нашу подстрелили. Она ко мне на коняшке прискакала. Еще в седелке вся кровью подпылыла. Пулей бок ей разворотило...

Толпа ахнула, зашептала, заговорила, припоминая.

VIII

Уже после рождественских холодов красный пехотный полк, обозно прохо-

дивший через забросанную снегом по самые крыши Черную Тяжину, у Макарихи, жившей одиноко, оставил молоденького и худенького солдата, маявшегося в тифозном беспамятстве. Оставил и оставил. Об этом в деревне неделю спустя и думать забыли. А солдатик выжил, оклемався на парном молочке да целебных травах и к весне явился миру девкой стриженной в кубанке с голубым верхом. Пока на завалинке та девка сидела и в тепле нежилась, была она и взаправду беззащитная и безответная, душой и телом светлая, даже прозрачная. А поднялась на ноги и повесила на ремень браунинг. Почаху вознамерилась полк свой пехотный догонять. С прослезившейся Макарихой простилась честь по чести. Сама всплакнула. Но, видно, отошло время девкам из браунингов пулять. Обернули ее из города назад, назначили в Черную Тяжину секретарем сельсовета. Села комиссарша на секретарское место так, что и председателю сельсовета Лукьяну Болохову пришлось подвинуться. Сатана сатаной, только что в юбке. Мандат привезла изымать хлебные излишки. Зверем, заступившим в капкан, взвыли справные мужики. Оно, конечно, и надо бы помочь России, в которой опять случился недород. Да ведь не бывает у мужика лишнего хлеба. У него каждому зернышку загода судьба обозначена: этому прорасти весной усато колючим колосом, этому лечь на стол духмяно-сытой ковригой, этому насыпаться в кормушку ласково пофыркивающего коня-работника. Но у того, кому голодающий пролетарий дороже брательника, свои мерки и заботы. Кто похитрей, через Макариху пытался ходатайствовать. Комиссарша, разгадав хитрый ход, на жительство в сельсовет перебралась. Стало хуже, чем было. Предположили, что от тоски-одиночества девка бесится: природа, она своего требует. Парней науськали. Отправился на свиданку Клипка Ершов, брюнетистый, чубатый, на веселое слово тароватый. Не пустомеля: пожил в горо-

де, набрался форса и обходительности, одевался во все покудное. Вошел Климка к комиссарше без стука, а вывалился от нее с большим грохотом. Только что двери вместе с косяками на плечах не выпес. Не постеснялся товарищам страх показать. «Сидит, — рассказывал, — на кровати в белой ночной рубашечке. Ноги худющие сложила калачиком. И сухарь мелкими зубками, как мыш, точит, хрумкает. Легонькая вся: дунь — упадет. «Чего ж, — спросили, — не дунул?» «Иди, попробуй, — ответил Климка, — она тебе дунет. Я наганом сам в охотку баловался. Маленький, но тяжелый, окаанный. Пока поднимаешь, пока цель поймаешь, руку оттянет, дрожью пробьет. А она меня навскидку взяла.»

Бабенок, которые наладились с гостинцами в сельсовет заглядывать, комиссарша без оружия отвалила. О чем с ней будешь говорить-баять, если она все свое женское на мужское, как платок на кубанку, поменяла?

Тот же Лукьян Болохов при встрече с комиссаршей, случалось, начинал злостью, как индюк кровью, наливаясь. Все ей не так, все не глянется. Снегу в прошлую зиму выпало сверх меры. Мужики опасались, что подопрели озимые, вымокли. Намеревались по ржанищам овсы подсеять. Пока судили да рядили, как лучше обернуться, комиссарша успела в город отписать, что в Черной Тяжине хлеб укрывают. Приехала продовольственная комиссия и выгребла семена под метелочку. Лукьян Болохов волосы на себе рвал: «Натворила беды клятая. Не выправится рожь, пустим село в разор». — Она глаза круглые вытаращила и врзала в ответ: «Заныл, вражина. Надо было зимой не на печи париться, а лишний снег с полей сгребать». Ну что ты ей разъяснишь, если она в крестьянском деле ни бельмеса не понимает и понять не хочет. Жужжит и жужжит, словно слепень в знойный день.

Ефим Сорокин, секретарь Чернотяжинской ячейки, пытался на комиссаршу

по партийной линии влиять. Ну и тоже без толку. Подвела она Ефима к стенке, ткнула не пальцем, а браунингом в плакат, с которого скорбная женщина с дитем на руках спрашивала: «Ты чем помог голодающему?» И обложила в три этажа с перебором. Ефим перед плакатом с час, однако, простоял, женщину скорбную вслух уговаривал: «Потерпи, милая, до новины. Я тебе тогда не горстью, мешком отсыплю хлебуншка». — С ней-то договорился, душу успокоил. А с комиссаршей договориться и ему не удалось. Совсем осатанела. Сними при ней последний тулупчик, отправь тот тулупчик в сиротский дом, она и спасибо не скажет, будет примеряться, как с тебя еще и рубаху снять: в плечах Ефим вон ведь до чего широкий, из одной его рубахи тем сироткам можно три платица выкроить.

Делить, конечно, надо по справедливости. Это Ефим понимал. Но надо что-то иметь, чтобы поделить по справедливости. На нет, говорят, и суда нет. За столом первый кусок — работнику. Не из страха, из уважения и понимания. У Ефима своих полоротых в доме семеро, да жена, да мать-старуха. Он на одной ноге в поле за плугом, как грач, шкандыляет. Однако вразуми комиссаршу, что пахарю полагается сытым быть, если она всех сытых ненавидит лютой ненавистью. Ей только голодные — братья, родня.

Нажила себе комиссарша в Черной Тяжине супротивников злых, мстительных. Ефим и Лукьян выругают и простят неразумную. Другие не выругают, но не простят. Ради хлеба мужик привык свои жилы, не жалуясь, рвать. Чужие жилы рвать ему способнее.

Одна Макариха души в комиссарше не чаяла. Видать, в тифозном беспамятстве и эта стриженная на боль и жар жалилась, как все прочие люди, просила и мамку свою звала.

— Отвезли в Урман Аленушку, — снова заголосила Макариха. — Бросили на

погибель одинокою. Глумитесь, звери дикие. Морозь ее, Морозище. За мир честной, за его грехи смерть приняла.

— Во! — Усатый кулаком ткнул Макариху в тугой живот. — Правильно баба толкует. Был третий. Она дважды по ним, он один раз — по ней. Арифметика — наука точная.

...Багровое летнее солнце, уставшее за день, скатывалось за Лысую гору, когда из Черной Тяжины тронулся обоз. На пароконной, окованной в железо милицейской тачанке лежала комиссарша, с головой укрытая просторной кожаной курткой. Следом, загребая сапогами пыль, побрели сельские партийцы во главе с Ефимом Сорокиным, серые с лица милиционеры. Их усатый начальник держал руку у козырька фуражки. Братьев Губиных, уложенных под попону, везли на телеге. Провожать их никто из родных и домашних не вышел. Взыл дико палевый губинский цепняк, да тут же и поперхнулся, словно его головой в бочку сунули.

Едва обоз скрылся за Лысой горой и возвратились партийцы, Черная Тяжина загомонила на все голоса. Степке и Фене, хоть разорвись, куда бежать? кого слушать?

— Мой-то анчутка опять пьяный появился, — рассказывала бабам Клавдия Пестерева, сухая и длинная, как держак от грабеля, — Пока он в сених шебаршил и с кринками бодался, я, не будь душой, подхватила Галюшку и в погреб. Из погреба лазом в сарайчик. Затаилась да жду, когда этот аспид сам себя ухайдакает. Слышу, железом о железо тихонько, но явственно звякнуло. Ну, думаю, конец придёт. С топором, думаю, крадется. Порешит обоих. Приткнулась к щелочке, приглядываюсь.

— Что же ты голос не подала? — спросила Варвара Сорокина.

— Обмерла я. Бьет он меня, смертным боем бьет. — Клавдия вроде надломилась пополам, со скрипом уткнулась в передник.

Завздыхали бабы, пригорюнились, сочувствуя. А чем утешить? Ох, тяжелы мужнины кулаки. На свою бабью долю, как на неволю, одной богородице разве пожалуешься.

— Не бери себя, не бери, — сказала Варвара.

— Дальше-то что было? Что видела-то? — зашумели бабы.

— Двое их было. Верхами. Первый прямо из седла на крылечко заступил. Надавил плечиком на дверь и снял ее с петель, как будто раму из окна выставил. Потом в избе что-то негромко треснуло. Второй забеспокоился, коня начал спячивать. Она и выскочи. Молонья у нее из руки высверкнула. Сама птицей на конника и с места наметом. Только б ей заплот перемахнуть, тут по ней и ударили.

— Не заметила, кто? — спрашивает Варвара.

— Нет, не заметила. — Клавдия ладошки перед собой выставила, загораживаясь ими, как от солнца. — Не рассвело еще толком. Да и за углом тот стоял, таился.

Среди мужиков ораторствовал Филька Глуздов, от которого пахло самогоном. Успел, значит, помянул рабу божьё новопреставленную.

— Не иначе ее Кешка Гвоздев поместил. Больше некому. Надясь коршун у меня дышленка из-под наседки выдернул. Высоко уже поднялся кругами. А Кешка его и снял, как с копы. Это из дробового. А дай ему карабин с пулей...

— Ну? — недовольно хмурится Лукьян Болохов.

— Вот тебе и «ну». В конного попасть уметь надо. Мне, к примеру, никак не изловчиться.

— Ты нам загадки не загадывай, — горячится Лукьян. — Мы втемную сами мастера играть. Что конкретно сказать можешь?

— В карателях колчаковских Кешка был? Был. Это не конкретно?

— Что б тебя подняло да бросило. Без

тебя знаем, кто где был. Кешку у сельсовета видел?

— Ни хрена он, болтун, не видел, — сказал Ефим Сорокин. — Губиным Кешка не помощник. Они всю Кешкину родовую на выселках вырезали. За отступничество местили.

Парни Климку допытывали. Не он ли комиссаршу порешил? Климка отнекивался, твердил:

— Меня еще с той ночи трясучка колотит. Не то что карабин, ложку не могу держать по-человечески.

Ничего толком не вызнали Степка с Феней про комиссаршу. Едва успели вернуться домой, спящими притвориться, как взрослые явились тоже, разные предположения высказывали, но так и не определили третьего.

Так было в Черной Тяжине... В деревне же, в которой жила Анна Савельевна с мужем и тремя ребятишками, по-другому случилось. Первые выстрелы здесь тоже на зорьке прогремели. Только завернули на те выстрелы не серые с лица милиционеры, а казаки из полусотни есаула Дробота. Рассказывает Анна Савельевна, а Ковалев вроде бы все рассказанное своими глазами видит...

...Площадь перед домом с красным флагом просторная. Ветер туда-сюда гоняет по ней клочья соломы, ворошит сухие опавшие листья. Пусто на площади. В рост не пробежишь — подстрелят, ползком не проползешь — виден на площади человек, как кочка в согр. Есаул Дробот казаков не торопит, воюет по правилам. У мостка караул выставил. Ждать противника неоткуда. Но береженого бог бережет. Дробот ждет ночи.

Сухонький старик в плисовой шубейке шишит на Дробота по-змеиному. Не терпится старику.

— Огоньку им, богоотступникам. Огоньку!

— Огоньку, это можно, — соглашается Дробот. — Это дельно придумано.

С четырех сторон выкатили на пло-

щадь бриточки с сухим, как порох, луговым сеном. С четырех сторон занялся костром дом сельсовета. Выпрыгнувших из окон мужиков казаки приняли на штыки и бросили обратно. Василий Шестаков не выпрыгнул: не захотел народу слабость свою показать.

Бежит через площадь девчушка махонькая, кричит:

— Папаня!.. Папанечка!..

И девчушку легко поднимает на вилы старик в плисовой шубейке.

— Всех в геену огненную! Все семя под корень!

Громко и страшно кричат люди. Есаул Дробот нервно морщится. Анну Савельевну замертво утащили с площади соседки. Водой отлили. Ребятишек собрали, укутали, на дорогу вывели...

Словно в кошмарном сне бредет она по большаку, вязко подпавшему грязию. Темна осенняя ночь. К груди прижимает меньшенькую — бессмысленно гукающую отцовскую радость. Цепляясь за подол, семенит рядом Сергунька. Старший Витюшка идет передом. Сеет и сеет дождь со снегом. Не видать конца дороге. Подкашиваются ноги от горя и усталости. Падают на колени и с ужасом обнаруживают, что нет рядом того, который семенит, цепляясь за подол. Спотыкаясь, бросается обратно, находит его, прикорнувшего у обочины, опять бежит туда, где оставила меньшую, откуда слышится волчий голодный вой.

Утром семью Шестаковых подобрал отряд, высланный из уезда в захваченную казачьей бандой деревню.

— Витюшке-то уже седьмой годок шел. Все он понимал, все запомнил. И отца сгоревшего, и дорогу эту. Вот и судите нас, люди добрые, своим судом и по совести.

Обращалась Анна Савельевна к людям, а смотрела на Ковалева, смотрела ясными, без слез глазами, пока опять не зашлась в надрывно трескучем кашле.

IX

После окончания школы краскомов во Владивостоке, где преподавание не только специальных предметов, но и общеобразовательных дисциплин вели отставные полковники и капитаны первого ранга царской службы, Пахомов приобрел привычку к подтянутости, офицерскому лоску, строгой организации своего рабочего времени. Приохотился к звучному слову.

— Федор в чем прав? Не можем мы мужикам из Сахалина дать полную волю. Они раскулачивание не простили. Спят и видят гривастых Буланок и Пеструх-ведерниц. Сыто жили. Им другая жизнь — лучше той, навозной, еще долго не высветится. На прошлой неделе в Михайловском председателя колхоза конями на части порвали. Башибузуки! Девчонок того председателя гвоздями к воротам прибили. Народ жуткий. На нас они, как на конокрадов, смотрят и судят соответственно. Выходит, не пришла пора волю им давать. Она, воля-то, вроде пока: не тебе, так себе этот варнак живот распустит... Самурай, туда их... Но ликвидацию кулачества как класса партия понимает не как физическое уничтожение, а как трудовое перевоспитание этих паразитов и мироедов. И в этом вся загвоздка. Мы их за тысячи верст везли не для того, чтобы здесь в распыл пустить. Это проще и легче было на месте сделать. Но не по-государственному, братцы-молодцы, разумению такой материал на гнилье переводить. Человек при любой экономической формации — главная производительная сила. Дорогостоящая, заметьте, сила. Коня вон на четвертый год запрягаешь. Под корову и того раньше сядешь с подойником. Дольше всех человек к работе готовится. Зато ведь и работает дольше лошади.

Ковалев сидел и молчал. Кое-какие привычки начальника Рудничного отделения милиции он уже усвоил, взял их на заметку, соответственно выправлял свою линию поведения. Пахомов умел

слушать внимательно и располагать, но и сам не любил, когда его перебивали. Федор сидеть и молчать не умел, он от спора никогда не уклонялся с любым начальством. Книжек мудреных Федор на своем веку уже начитался, посещал семинар пропагандистов при горкоме партии. Свое несогласие с Пахомовым он сразу выразил:

— Так то ж человек, Кондратий Иванович. А эти? Разве они люди?.. Гиббоны с острова Явы. Кулачество лишено созидательного начала. Вспомните, как зверски они эксплуатировали батраков. Землю практически разграбили с помощью проклятой трехполки. Возьмите их методы борьбы. Насилие, грабеж, уничтожение материальных ценностей. Они ничего не хотят сделать, сохранить впрок. Ни хорошего, ни плохого. Они норовят испортить уже сделанное. Забрали мы у кулака батраков. Машины забрали, тягло. Землю забрали. Но ведь не в огонь бросили, не сломали. То, что было на пользу одному, старались обратить на пользу многим. Машина, поступая в общественное пользование, дает наивысшую выработку. А он, гад, что творит?.. Он машину ломает. Какая же это производительная сила? Это крестьянская стихия, разбой в экономике, разрушительная сила.

Пахомов недовольно передернул щекой, но голос не поднял.

— На заводе я вчера был. На подковном. Ругань там до потолка. Технологию поносят, как проявление буржуазного стиля руководства. Суть же вот в чем. Российская наша вагранка ладом действует. А немецкая, привозная, уросит. Есть какие-то в ней секреты. Ну и что теперь? На три лома ту буржуазную технику? На свалку выкинуть? Самое, конечно, простое решение. А самое ли верное? На заводе этот номер не прошел. Рабочий привык машину уважать: в нее труда вложен. Не по-хозяйски добром раскидываться. Рабочий тоже имеет свою интуицию.

— Не помню я партийной директивы с кулаками браться, — упрямо возразил Федор.

— И я не помню. Не было такой директивы. Но партийные директивы на умных людей рассчитаны. Кулачество, а не кулак, объявлено врагом номер один. О массовых расстрелах приказа не было? Не было. Отдельную кулацкую республику мы выделять и организовывать не собираемся. Это тоже ясно. Значит, вместе будем жить, рядышком. Потом, дети у них. На них вины нет, крови нет. И спроса с них нет. На Советскую власть они должны научиться нашими глазами смотреть. Выходит, прав Степан, когда за кулачка своего заступился. Не отмахнешься от этой реально сложившейся ситуации.

— Если он прав, тогда я не прав.

— Почему же? К одной правде можно с разных концов подойти. Для нас поселок Сахалин хуже чирья на самом неудобном месте. На мое разумение расселить бы вразброс пошире, чтобы люди на свет глянули, свежего воздуха глотнули. Но кто-то иначе рассудил. В том смысле, что социальную заразу тоже нельзя разбрасывать по сторонам. Тут ориентиры точно обозначены.

— Заразу прижигать надо, Кондратий Иванович.

— В обязательном порядке. — Пахомов снова открыто не возразил, однако, продолжал гнуть свое. — Прижигать революционной законностью, но не беззаконием.

— Как это понимать?

— Понимать надо с самого начала. — Пахомов открыто улыбнулся. — Скажи мне кто-нибудь в восемнадцатом году, что мы коммунизм будем лет эдак десять строить? Прислонил бы я того провокатора к стенке и шлепнул без жалости... Ведь как думалось? Разгребем, мол, чуток всякий мусор, отстреляемся, как отсеемся. И живи себе в бесклассовом, где от каждого по способностям и каждому по потребностям. Ведь способностям же

людским — краю нет, а потребностей у человека — много ли: сыт, обут, живет в тепле, и ладно. Теперь вот думаю иначе. И в способностях просчитался, и в потребностях ошибся. Революция нас вывела не на солнечную поляночку бока греть. Она нас наняла в работники. И тропки через чащобу нам торить, и бурелом нам растаскивать. Никто за нас этого не делает. Умнеть надо, братцы-молодцы. Умнеть, замечу вам, никогда не поздно. И не стыдно. Ребячья потасовка большой политикой оборачивается. Этот орешек крепких зубов ждет. Стоит нам с комсомолом посоветоваться. В горьком партии я вопрос поставлю, в исполкоме. Ну и сами должны предложения сформулировать. Витьку и прочих его анархо-максималистов посадить под домашний арест. На месячный срок, до начала занятий в школе. Чтобы без спросу — только в магазин и в сортир. Книжку Саньке вернуть. Пусть читает про Буденного Семёна Михайловича. Вылечить у лучшего доктора. Извиняться в поселок я сам приеду. При всем народе перед Санькой шапку сниму и попрошу прощения. Виноваты, не досмотрели. Мы не досмотрели. Вот вам и вся дислокация.

Такое решение даже у Федора не вызвало возражений. Следом за Ковалевым от закивал головой.

— А теперь я сам разверну перед вами кое-какие проблемы. — Пахомов прошелся вдоль кабинета, привлекая ногу, простреленную у Волочаевки, остановился напротив Ковалева. — Тебе, Степан, не доводилось в трясине тонуть?

— Не доводилось, Кондратий Иванович.

— И ладно. Мне вот пришлось. Когда за Семеновым в Забайкалье гонялись. Вредный был атаман. Да и природа на Дальнем Востоке странно устроена. По низине едешь — сухо, воды глотка не найдешь. На сопку, на самую верхотуру заберешься, а там — болото моховое. А дело было так. Постреляли по нам казачишки и отскочили. Мы, конечно, «ура!» За ними. Напрямки ударились. И втюри-

лись всем отрядом в трясину. Прижали они нас пулеметами в грязь по самые поздри. Верхом смерть ходит и чисто косит; низом липкая гадость тебя засасывает, аж чмокает от удовольствия и ненасытной жадности. Страшно это, когда засасывает. Так, Степан, страшно, что мы на пулеметы пешкодралом кинулись. С пашками наголо. Все кинулись. Та смерть, что снизу за гачи тянула, страшной показалась. Она людей еще в ту пору пугала, когда пулеметов не придумали.

Ковалев почувствовал в словах Пахомова скрытый намек на что-то такое, что прямо относилось к их разговору. Привстал, чтобы немедленно оправдаться, заслониться от подозрений убежденностью в своей и Санькиной правоте.

— Ты сиди и слушай, что я говорю, — приказал Пахомов. — Знаю, что ты с наганом в обнимку спишь. Вопрос: зачем с наганом спишь? По надобности или по привычке? Мужики в поселке рисковые. Им неугодного человека придавить полегче, чем до ветру сходить. Почему же они тебя не трогают. Не страшат даже? Потому, что смысла нет. Вместо тебя убитого, мы ведь другого приплем. И тоже с наганом. Это понятно. Но есть и другая сторона у медали. Обязан я предположить, что они тебя в свою веру перекрещивают, заступника в тебе нашли.

— Коли мне веры нет...

— Если бы тебе веры не было, ты бы не со мной, со следователем беседовал, перед комсомолом ответ держал, — жестко сказал Пахомов. — Бывают враги по убеждению. Бывают враги по глупости. По мне хрен редьки не слаще: вред от тех и других одинаковый. И кара с учетом вреда принесенного должна назначаться. Ты мальчонку того на свое сердце правильно принял. Я одобряю. В поселке Сахалин ты обязан стать своим человеком. Но и нашим при этом обязан остаться.

Пахомов посмотрел на понурившегося Ковалева, сказал устало:

— Это мы во спасение твоей души, Степан. Предположительно толковали. Понимаешь, штука какая. Ржа даже железо ест. Нам очень надо уметь в самую середку заглядывать. Поселок твой хуже трясина. Чуть оступился — сглотнет. И мы не вытащим. Выдюжишь — дам рекомендацию в партию. Такая, выходит, стратегия.

— Но я в поселке ничего особенного не вижу, — возразил Ковалев.

— Тишь, гладь и божья благодать? Плохомотришь. Ты факты сопоставляй. Десятника ночью ограбили и убили. Далеко от тебя? Далеко. По нашим милицким меркам — за тридевять земель. Гражданочку насильничали, потом впроваля бросили. Это уже поближе. Но опять не на твоём участке. Так, что ли? Может, и так. А вот Витька Шестаков считает, что ветер с твоей стороны подуд. И я так считаю. Витька уже свои меры принимает. Мы же с тобой пока чешемся. Расстояния еще ничего не объясняют. Лиса, когда прибылых пестует, курей подальше от логова душит. Бойтся на след навести. Люди не глупее лисы. Остерегаются. Но ниточки от этих происшествий, как мне кажется, в твой поселок тянутся. Действуют двое с обрезами. На пустырях скрадывают, из-за кустов. Самая кулацкая повадка. И язык, по показаниям потерпевших, у них не на блатной манер подвешен. Вот и примеряйся. Нам только добренькими вредно быть. Одного прижалею — десятерых обидим. Кровно обидим. В такое время живем. Ведь то пытаемся срастить, что не сращивалось. Самые заповедные человеческие межи перепаживаем. И ошибаться нам нельзя. Чекисту, по службе нашей, к горячему сердцу еще и холодный рассудок придается. Это, кстати, и Федора касается, хоть и не с того бока. Шибко много вокруг себя грагов видит. Дальтоник!

Самого Пахомова от земли оторвала война. Как в 1914 взял винтовку, так и воюет. А вот думает все еще крестьянскими думами. С Ковалева городские

сквозняки тоже не всю деревенскую пыль сдули. Учиться бы парня направить. А когда учить? А кому учить Федора, который уверен, что и так уже все знает? Пахомов, тая жалость, бодро скомандовал:

— По коням, хлопцы-молодцы. Кругом марш. Мне тут с бумагами разбираться.

Х

Пахомов говорил обидные вещи. Но себе наедине Ковалев честно признался, что в чем-то большом и значительном их начальник отделения прав. Где та грань, переступив которую, человек для кого-то становится своим и перестает быть нашим? Есть ли такая грань? Наверное, есть: ее отчетливо видит умный и зоркий Пахомов. Видит и предупреждает. Но у каждого эта грань проходит по тому рубежу, который заметишь только сам, если сумеешь заглянуть себе в самую серединку.

Не часто Ковалеву выпадал момент по душам беседовать с Пахомовым: ни условий, ни времени для этого не хватало. Ковалев был уверен, что рискованные мужички из поселка, дай им волю, не все кинутся чужие животы вспаривать. Далеко не все! Он-то уже может назвать хозяев, которые навсегда поверили в новую правду. Не сразу, но поверили. Постепенно такое накапливается. То парнишка кусочек той правды из школы принесет, то парень постарше что-то заветное в кино увидит или в книжке вычитает, то сам бородатый хозяин услышит на шахте верное, берущее за живое слово. И обозначится такое не сразу. Но Ковалеву видно, как люди к жизни тянутся.

За поселком Сахалин начинается длинная полоса провалов, заполненных талой водой. Их берега понизу густо поросли тальником, поверху в рост человеческий — полынью. Еще той зимой, возвращаясь под вечер из города, Ковалев вдруг услышал из провала испуганный вскрик,

потом всплеск и бултыханье. Без дороги, обдираясь о кусты, он скатился по крутому откосу. В проруби, в которой поселковые бабы полоскали белье, из последних сил барахталась Дуся Чумакова. Ковалев с натугой ухватил ее за ворот телогрейки, выдернул на скользкий и покатый мосток. Заолодевшая в воде Дуся не держалась на ногах. Пришлось брать ее в охапку и так тащить до дома.

Отпавшая дочь малиновым взваром, старуха Чумакова не забыла позвать к столу и Ковалева, вволю напоила его чаем. Переодетая в сухое, зябко кутаясь в пуховый платок, Дуся сидела напротив, держа блюдечко в растопыренных пальцах. Говорили они тогда о незначительном, о пустом говорили.

— Скатерку вот утопила.

— Скатерку мы выудим. Хотя завтра кошкой можно зацепить. Течения в провале нет. Это же не река. Не отнесло в сторону.

— Я летом туда занырну. Там неглубоко.

— Чего ж не занырнуть. Летом вода в провале теплая.

Но после этого разговора Ковалев долго ворочался на кровати, не мог уснуть, хотя набегался за день, как бездомная собака.

С тех пор Ковалев и стал отличать Дусю среди поселковых девчат. И она не прятала от него лицо под шалью. Как-то таким взглядом одарила, что обычно суровый с виду Ковалев расплылся в откровенно глупой улыбке.

Был еще случай. Застал Ковалев Дусю в своей, ни днем, ни ночью не запирающейся милицейской комнате. Всю документацию Ковалев в карманах хранил, в комнате той, кроме стола, лавки и двух колченогих стульев, брать было нечего. Дуся, подоткнув подол, сноровисто протирала тряпкой пол. Ее смутило неожиданное появление Ковалева. Но переборов смущение, она встретила его окриком, как встречает жена загулявшего мужа.

— Уставился? Зарос тут грязью по самые уши, бесстыжий.

Пока Дуся прибирала комнату, Ковалев сидел на крыльце да блаженно улыбался, как тот старик в просторном гробу. Зримо представлял, как Дуся мочит и отжимает тряпку.

Не вдруг заговорил Ковалев с Дусей о поселковых делах. Считал неудобным заговаривать. Дуся в те двери вхожа, которые от Ковалева все еще на висячий замок запираются. Дуся же шла на встречу легко и весело. Не потому только, что он ее из проруби тогда выдернул, видать, решила девка, что ей в тот зимний вечер руку новая жизнь подала. Вот и уцепилась за нее, стала смелее и того, что готова помогать Ковалеву, не скрыла. Дусю приглашал к себе Пахомов, о чем-то долго с ней говорил.

О чем говорил? Можно строить только догадки. Не пойдешь ведь к начальнику отделения, не покаешься, что напрасны его опасения, что занозой в сердце и памяти сидит Феня. Пока Ковалев на курсах учился, в городе обжился, рыжая быструшка выскочила замуж за приехавшего в Черную Тяжину геолога, успела народить ему мальчишек-близнят, тоже в свою рыжую масть. В письмах к Ковалеву их не Толькой и Колькой зовет, а Рыжиками.

Перебрав в памяти беседу с Пахомовым, Ковалев прошелся по поселку, пытаясь рассмотреть то, что раньше не замечал. Но ничего, с милицейской точки зрения, подозрительного не заметил. Покоем дышал поселок Сахалин. Бородачи, отработав очередную упряжку в шахте, копошились на своих подворьях: рыли погреба, утепляли стойки, что-то пилили и строгаали. Девчата и ребятишки пластались на огородах, окучивая картошку. Пригнали с выпасов стадо. Загребели бабы подойниками, совсем как в Черной Тяжине. На улицу потянуло густым запахом парного молока.

Встретившийся Митька Разгон воровато отвел глаза в сторону. Ну, а в чем

Митьку заподозришь? В том, что ему Дуся нравится? Так он и не скрывает этого. На вечерке про стоечку не зря болтал. Митька среди поселковых парней главный. Опираясь на поддержку Ивана Трошина, задает тон на посиделках, ухаживает, кобелится с вдовыми бабами. Ему это тоже в укор не поставишь. Так было и так будет, не Ковалеву тут что-то переиначивать. Ухарство Митьке дается не без боя. Через лоб вопьется свежая ссадина, уже подсиненная в шахте угольной пылью. Обзавелся приметой.

Умный человек Пахомов. С его бугра дальше видно. Однако издали тоже не все увидишь. Толпа перед тобой и толпа, серая толпа, если глядеть издали. А кому-то и лица надо в толпе видеть: лица Дуси, Слигина, Митьки Разгона, Иванихи, Саньки, старика блаженного, принятого на общественный прокорм.

После обхода поселка Ковалеву хватило времени написать письмо в Сормово с официальным запросом, как воевал пушкарем на «Ване-коммунисте» Семен Васильевич Слитин.

Утром Ковалева отозвали в распоряжение оперативного штаба. Милиция начала давно замышляемый рейд по таяжным заимкам, пасекам, выселкам, где хоронились бандиты, самые непримиримые, отрезавшие себе все пути к людям.

XI

Мужикам в деревнях надоело жить в вечном страхе, платить бандам непосильные подати конями, одеждой, продовольствием. Никакой пользы для себя они в этом не видели.

Мужики охотно показывали милиции заповедные охотничьи места, устраивали совместные засады, без боязни поднимались по команде. Бывшим партизанам и участникам трех войн все было не в диковинку. Оружием владели, как кадровые солдаты, подчиняться еще не отвыкли.

Бандиты сопротивлялись слабо, как-то

бестолково. Одуревшие от беспробудного пьянства и одиночества, разуверившиеся в своих силах и своей правоте, они или вздергивали трясущиеся, непослушные руки, или гибли в коротких перестрелках.

Заезжать в Черную Тяжину Ковалев отказался. Не хотелось встречаться с Феней, ее геологом, Рыжиками. По тропинке поднялись с Федором на пасеку к деду Матвею.

Дед Матвей свои сто лет давно прожил. Поженив детей, внуков, правнуков, он породнился чуть ли не со всей Черной Тяжиной, в каждой избе был желанным гостем. Если гостевание затягивалось, деда не корили, не прогоняли. Жил он людям не в тягость. Летом сиднем сидел на пасеке, как никто понимая пчелу. Осенью драл в тайге хмель, корье заготавливал. Зимой тачал валенки, ичиги подшивал. Ел мало, спал на печи с ребятишей. Сказки рассказывал длинные и страшные.

У Ковалевых дед Матвей тоже жил. Пришел к обеду и мать начал расспрашивать:

— Ты, стал быть, Кузьмы Круглоголого дочь родная. А он, Круглоголовый-то, вроде па Авдотью женился Проскурипой?

— Женился.

— Я помню. Я все помню. Большая свадьба была, громкая. У Ковалевых, поуличному Круглоголовых, родовой много. Ну, а мы, Проскурины-то, разве захребетники? Собрали Авдотью гамузом. Корову дали в приданое, сундуки. Это само собой. Это, как у людей водится. Еще жеребчика выделили. Соловый был жеребчик, сытенький. Авдотья давно ли померла?

— Давно. Десятый годок, как схоронили.

— Все там будем, касатущка. Так давно, говоришь? А ить молодая была.

— На семидесятом годочке.

— И я говорю, рано убралась.

Дед и мать повздыхали, потом дед сказал:

— Так я у тебя поживу, внученька.

Мать перед дедом в поклоне так и присела, руками плавно развела. А дед потом всю зиму жил. Нашел в поленище липовый сунунок и Фене со Степкой ложки выстругал не хуже лясовотских. Загребастые получились ложки, в рот даже не лезли, приходилось с краю схлебывать. А по весне взяли его к Сорокиным жить. Переехал. Дядька Игнат по дочери деда Матвея ему племянником прихотился. То-то горевали Феня со Степкой. Зато Сорочата радовались, задаваками по селу ходили.

В последнее время дед Матвей слепнуть стал. Спрыгнувшего с коня Степана при-тянул к себе за грудки, чтобы рассмотреть. Узнал-таки, обрадовался, поцеловал троекратно. И тут же с попреками:

— Раньше бы тебе поспеть с ружьем-то. Только что варнак медведь бычка утянул. Миром на племя оставляли. От Кучугура бычок. Экой славненький. И я за него в ответчиках. Пугал, пугал вражину проклятущего. Он рывкнул на меня, вроде обругал, и среб скотинку.

— Летом напал? — удивился Ковалев.

— Меченый он. Нынче по снегу поднят из берлоги. Стреляли его какие-то недоумки. Ладом уцелить толку не хватило, упустили в тайгу разбойничать. Он к мяску и приохотился. Осталось человечину распробовать.

— Давно утягал?

— Да кровь вон еще не обсохла.

Летом червотяжипские на медведя не хаживали. Не видишь зверя, а он тебя видит и чует. Даже безалаберно храбрые лайки летом поджимали хвосты, едва на них медвежьим духом пахнет. Понимали собачки, что они, легкотелье, в бурьяне запутаются и попадут в мохнатые лапы.

Ковалев присмотрелся к покатою луговине. Не осилил медведь бычка на весу нести, волоком тащил, вроде бороздой распахал траву.

— Должен близко залечь. Попробую догнать, — сказал Ковалев.

— И думать не моги, Степка. Задерет. Большущий, вражина. За ним Лукьян гонялся. Капкань ставил. Не взял. Хитрый шатуи, осторожный.

— От меня не отшатнется.

Медведей в Черной Тяжине видели редко. Чаще слышали о них, причем как-то так получалось, что слышали не от того, кто видел, а опять от того, кто сам слышал. Разно рассказывали, выделяя то добропорядочность, надежность и основательность хозяина тайги, не находя ему супротивников; то ругательски ругали за лень и глупость, завидуя безбедному житию; то меряли свою силу медвежьей силой и тогда ребятишек отправляли спать. Но и таились не очень. В селе ребятишки все давно знали, почему Макариха с пузом ходит, а разродиться не может. Молодкой поехала Макариха к мужу, служившему в Манчжурии, в крепости Порт-Артур. Поехала осенью. Вернулась весной. Без мужика вернулась. Говорила, что погиб ее Савелий в каземате. Документы показывала, билет проездной по чугунке в оба конца. Только не поверили Макарихе. Пошла по селу молва, что до Порт-Артура она не доехала, что выхватил ее из обоза медведь и всю, значит, зиму в берлоге с ней спал, кедровыми орешками подкармливал. Бумага бумагой, а пузо, когда к носу пупок подтянет, тоже под юбкой не спрячешь. Так и осталась Макариха бобылкой, хотя была с лица пригожая, даже в стельку пьяные мужики двор ее стороной обходили.

У Ковалева с медведями свои счет-расчеты... Уродилась как-то в тайге кислица, красным-красно. Брали ее бабы с девками, ребятишки. Мужики и парни выносили набранное. Дядька Лукьян с утра до ночи метался по полям. Мать с Феней в носики Степана приспособили. Служба милицейская службой, а мужскую работу по дому кому-то делать надо: кисели-то хлебать все горазды. Натокались на хорошее место. Ковалев за день три

носки сделал. К вечеру мама с полнехонькой корзинкой ушла домой коров доить, Феня осталась пестерь добирать. Степан ей в помощники вызвался. Одну же в лесу не оставишь. Он двигался по гребню увала, Феня — низом, по старой промоине. Тут и стряслось. Как закричит она:

— Медведь! Медведь!.. — И рыжей козой на гребень. Едва Степан успел ее перехватить.

Целовал он ее, обнимал, прижимал покрепче, пока успокоил. Храбро в промоину спустился, уставя перед собой наган. Разглядел что к чему. Феня подсказала. Брала ягоду. Спешила. И что-то ее в бок торкнуло. Думала, ветка уперлась. Закинула руку за спину, чтобы отвести ветку, а в горсть шерсть ухватила. Медведь?! В таком случае не козой, птицей взлетишь. Но на месте медведя на этот раз оказался заблудший теленок. К человеку его, несмышленища, потянуло.

Хохотали они, как сумасшедшие. До слез, до икоты. Притихшие, снова жались друг к другу, целовались. Больше-то ничего и не было. Правда, дома Степан сказал матери, чтобы к свадьбе готовилась. Та послушала и губы поджала в усмешке.

Ковалевы и Болоховы жили не просто соседями, а вроде родственниками. Елена Кузминична в двух домах вела все женские дела. За скотиной ухаживала, стирала, шила, еду готовила. А Фене как без материнского присмотра расти?.. В свою очередь, вдовый Лукьян плотничьим топором на двух подворьях орудовал. Для Степана был вместо отца, учил крестьянствовать. В поле, на лугах обе семьи тоже рядом работали. Детей Лукьян и Елена Кузминична давно считали общими. Им ли не знать, что дочка заневестилась. А вот женишок из Степки пока навряд ли петушка понешней кладки: только горло драть здоров. Елена Кузминична через Феню выяснила, что они не набедокурили, а Степку высмеяла:

— Мух тебе да жуков ловить, а не девок.

Кто пустил по селу слух, что Феньку Болохову медведь в тайге огулял? На Климку, который при всех поинтересовался у Фени, как у медведя в смысле этого, Ковалев в драку кинулся. Но драка лишь пылу в пересуды добавила. Ославили девку ни за какую вину. Степан пытался объясниться с Феней, предлагал ей расписаться в сельсовете. Она шаралась от него, как от зачумленного. На гулянья ходить перестала. То ли не могла что-то простить ему, то ли не захотела.

С пересудами драться не будешь. Но медведей Степан возненавидел.

— Однако спробуем, дед Матвей. Не пойдет он дальше ручья. Через кусты ему бычка не протащить.

— Ты хоть Пальму прихвати. Сучонка чуткая, привязчивая.

— Зови, науськивай.

Ковалев сделал все, как надо. Федора с карабином положил за колоду. «С упора ударишь, если я упаду». Сапоги снял, натянул бродни деда Матвея, голенища ремешками подвязал под коленками. Ремень с подсумками повесил на шею. Досылая патрон, взад-вперед поводит за-твором.

Через мягкие подошвы бродней ноги чувствовали каждую выбоину. Казалось, Ковалев не шел, а плыл бороздой по приямной траве.

Резвая Пальма ступала мелкими шажками, оглядываясь, точно выдерживая дистанцию в два десятка шагов. На черный выворотень кинулась с заливыстым лаем.

Медведь не вздыбился, только поднял над выворотнем сердитую морду. Места между широко расставленными глазами хватало. Ковалев плавно вскинул карабин, плавно, как на стрельбище, нажал на спусковой крючок.

Второй раз, обойдя выворотень по солнцу, он стрелял для страховки. Что медведь был бит насмерть, видно было по

поведению Пальмы, яростно теребившей мохнатый загривок зверя.

— Будет, будет... Он свое получил...

Только сейчас Ковалев почувствовал, как до костей пробирает его нервный колотун. Он поднял руку, намереваясь позвать деда Матвея, но тут что-то тупое с силой ударило ему в грудь.

— Зачем он стрелял? — падая, вяло подумал о Федоре Ковалев.

XII

В уютной горенке все знакомо. В ногах высокое покосившееся оконце. Летом солнце в него заглядывает ровно в шесть утра. Солнце смешно щекочет около губ, ну точь-в-точь, как расшалившаяся Феня рыжим локоном-завитком. В углу висят бабушкины иконы без кружевных окладов, строгого старинного письма. На темной доске у богородицы различимы только глаза. Станные глаза у богородицы: в горенке от них нигде не спрячешься. Всевидящие глаза. Крюк для зыбки в поперечную балку не вбит, а ввинчен. Крюк этот отец не в кузне деревенской ковал, как все прочие делали, а из города привез. На крюк бабы скопом смотреть приходили — красиво сработан. Мать его чуть ли не каждый день протирала и маслом смазывала, чтобы блестел. Для кого берегла? Выходит, для Фени. Крюк ввинчен накрепко, не двух, а трех Рыжиков удержит.

Ковалев пошевелился. Лежак заскрипел. Лежак самодельно сколотил для подростшего Степана дядька Лукьян из неопшкуреного горбыля. Гвоздей дядька Лукьян тоже не пожалел. Но придать громоздкому сооружению положенную устойчивость все-таки не сумел. Стоило лежак чуток придавить, как он начинал скрипеть.

Ковалев сам пробовал укрепить лежак подпорками. Ставил его на ровно опиленные сутунки. Продольные тяги поперечинами усиливал. Импровизировал вслепую. А толку?

Ковалев не удивился, что над ним наклонилась Феня, заметно располневшая, улыбочкая. Удивила ласковость в ее голосе. Но к ласковости Феня, как бы спохватившись, добавила ворчливой насмешливости:

— Лешак окаянный... Перепугал всех до смертыньки. Один на медведя кинулся. Совсем сдичал, что ли, в городе? Еще домыслил подсумок, как люди, повесить. А пуля-то могла и выше, и ниже ударить. Пришлось бы деду строгать для тебя домовину... Вставай, не залеживайся. Подружки вон весь день вокруг избы хороводы водят. Глянуть им надо на медвежатника. Разделись, как на престольный праздник. Выбирай любую.

— Мне ты по нраву.

— Значит, меня выбирай.

— А геолог?

— Геолога черти по тайге гоняют. Ждать его? И одного геолога мне, может быть, мало. Нарожая еще ему рыженьких, тебе чернобровеньких. Парочками. Разбирайтесь, которые чьи.

Феня рано в девки вышла. В пятнадцать годов ее приняли в девичий круг как равную. Стройная, ровненькая, с гордо вскинутой головкой, она привлекала внимание озорной, бесшабашной веселостью. Парни при виде ее сатанели, но сдерживались, побаиваясь Степки. Да и дядька Лукьян обиды, причиненной дочери, не простил бы. Попади ему под горячую руку, надолго отобьет охоту женихаться.

От живого мужа на лежак Степана Феня не собиралась. Не принято такое среди черноотяжских, но надо ей было утвердиться в мысли, что и в пышном ее положении сохранила она свою власть над Степаном.

— Твои письма к маме Лене я читала. Не зови ее в город, не сбивай с толку. Что ей там делать? На лавочке сидеть, с бабами судачить?

— Куда интересней Рыжикам горшки подносить...

— Они пока пеленки пачкают. Тут, по-

нимаешь ли, иное дело складывается... Батяня без нее шагу ступить боится. Привыкли они вместе. Пусть свое счастье ищут.

— Придумывай.

— Это надо же таким дураком вырости?... — Феня руками всплеснула. — Батяня не тебе чета. Останься-ка с ним баба в тайге ночью, он своего не упустит.

— Нахваливай, нахваливай. Я дядьку Лукьяна меньше твоего знаю?

— И нахваливаю. Сколько я тебе на шею вешалась? Половиком под ноги стелилась? А ты, как журавль, перешагивал. Пачкаться боялся, проклятуций.

— Целовались ведь.

— С пнями тебе в урмане целоваться. Мухолов!

Вошла Елена Кузминична. Фене сказала:

— Беги. Орут полоротые.

— Не надорвутся.

— Ну-ну!

Феня недовольно фыркнула, но послушалась.

Мать что-то сделала с постелью, и сразу перестало твердо и больно давить под лопатку. Переменила компресс на груди. Боль, собравшаяся комком, начала растекаться, исчезать.

— Ишь ты, как ноготочки скособочились. Раньше-то ровненькие были, розовые. Прямо девчоночьи. — Вспомнила давнее, улыбнулась. — Отец на руки тебя боялся брать. Вдруг, мол, сломаю что не нарочно. Все тебе ноготочки на пальцах гладил. Гладит и смеется в усы. Рад был, что парнем ты родился. — Подумала еще и присоветовала. — Сапоги подбери посвободнее. Форсишь там много.

Ковалев догадался, что мать была где-то неподалеку, отлучалась на минутку. А то вот сидела у него в ногах, пока выплакалась. Сейчас на свой лад сказала ему, что все страшное позади.

С шумом ввалился в горенку Федор.

— Ушел, сукин сын! Я по нему всю обойму расстрелял. А там берег обрывчиком. Он вдоль того обрывчика и про-

полз в тайгу. Мы с ребятами всю округу прочесали. Ни слуху, ни запаха. Из здешних, гад. Дороги знает. Мы дальше двигаем, а тебе лежать приказано. Не меньше недели. Держи уши остро.

— Чего ради... Я здоров, встану.

— Здоров — это хорошо. Вставать не надо. Тебя на селе оставляют не сало под шкурой наращивать. Поищи того, кто стрелял? Поспрашивай. На лежачего на тебя он, глядишь, сам выйдет. Добывать. Сдается, ты у него не первый. Метко бьет, насмерть.

XIII

Не вышел стрелявший добывать лежачего. Ковалев и Лукьян Болохов съездили на пасеку. Картина представилась не очень понятная. Стрелявшему легче было первым снять Федора: лежал Федор близко и открыто. Почему же палил по Ковалеву?

Рассудили так... Дважды прицельно выстрелить тот не рассчитывал. Не успел бы. Бил по Ковалеву потому, что знал его и сам боялся быть узнанным. Уйти от Ковалева, хорошо ориентировавшегося в тайге, ему тоже было бы труднее. Получалось, что деда Матвея он в расчет не брал, не опасался. Выходит, знал о его старости и слепоте.

— А стрелял зачем? — задал вопрос дядька Лукьян.

Не было у Ковалева в Черной Тяжине кровных врагов: нажить не успел. Когда землю делили, он еще хозяйством не правил. Став милиционером, скоро в город уехал.

Из дальних кому помешал?..

Для такого предположения тоже оснований не нашлось. Неужто дальний целый месяц конный отряд скрадывал, поспевал за ним?

Вывод напрашивался один: стрелявшему очень не приглянулось, что отряд в селе остановился. Он принял меры, чтобы тот отряд поднять, в тайгу за собой бросить. На большой риск человек решился. Сам решился? Или заставили?

Ответа опять не было. Но, видать, причина для риска тоже была большая.

Убитую комиссаршу вспомнили. Но довольно похожие происшествия в одну цепочку все-таки не связывались. Сколько времени утекло... В тот раз он третьим выстрелом в село отряд привел. А на этот раз из села отряд вывел.

— И тебя со стороны приметил, — утверждал Лукьян. — Однако все успел распланировать, за карабином сбегать. Медведь, получается, тебя от смерти спас. На пасеке тот бы тебя за милую душу ухайдакал.

— А вдруг он по медведю целил? Потом испугался и убежал?

— Не шибко похоже. Карабин в личное пользование давно не выдают. Я, к примеру, берданкой обхожусь.

— Почему раньше не стрелял? На борозде я был как нарисованный.

— Не было нужды торопиться. Мог ведь и медведь с тобой сладить.

— Я упреждал, Степку упреждал, — сказал дед Матвей, — Но разве молодой старика послушает? В бычке верняком десять пудов было. А медведь его с ходу заломал.

Ужинали дома, по-семейному, Ковалев загляделся на мать, на дядьку Лукьяна. В чем-то стали они друг на друга похожими. Не с лица. Повадками, что ли... Фея подсунула Ковалеву то ли Тольку, то ли Кольку, заставила кашей кормить. То ли Толька, то ли Колька сучил ножонками в белых носочках, вредничал, кривил ротик, потом напряг голый животик и выдал фонтаном струю.

Мать напустилась на Фею. — Что ты их из угла в угол таскаешь, как кошка котят. Ребятам место положено. Придумала парня учить дите кормить.

— Наука полезная. Ему, глядишь, разом троих отольют.

— Тебе путное советуют, сорока. — Дядька Лукьян поддержал Елену Кузминичну.

Состоялся разговор о деревенских делах. Дела выглядели не очень весело.

МТС брала у колхоза оплату с гектара мягкой пахоты. Урожай в хозяйстве эмтэсовских мало интересовал: плати за ту пахоту, и весь сказ, они организация — государственная. Так что долги в хозяйстве росли быстрее хлеба.

— Поднимайте урожайность, — заметил Ковалев.

— А урожай совсем не то, что по желанию поднимается.

— Брали же и сам-десять, и сам-пятинадцать. Почему же вниз катитесь?

— Тебя бы так толкнули. Кувырком бы полетел. Помнишь, как мы семьей семена отбирали, к севу готовили?

Приносил дядька Лукьян пшеницу, высыпал на широкую столешницу. Мама лампу зажигала. Садились вчетвером и на вес, на ощупь отбирали самые крупные и ядренные зерна. Старательному полагалась премия. Дядька Лукьян на подарки не скупился. Но все подарки Фене доставались. Найдет повод отвлечь внимание Степки, и, пока он лупает глазами, она из его кучки отгребет себе добрую половину зерен.

— Нынче семена на элеватор для сохранности вывезли. Там перемешают, подпортят. К севу получим какую пшеничку? Тоже по весу, но из степной зоны? А в наших краях пшеничка эта не приживается.

— Мне жалуешься? Больше никому?

— Пробовал и другим. Схлопотал разговор за искривление линии. Нет крестьянину доверия. Это в городе, считается, умники живут. В деревне, по их понятиям, бабы одних дураков рожают. Помнел — беги за околицу.

— Придумал, — рассмеялась Елена Кузминична. — Один в милицию, другой еще куда. А хлеб кому растить? Бегите, бегите. Сами управимся. Раньше обходились.

Дядька Лукьян только крикнул обиженно.

— Пугливые больно стали, — безжалостно, с нескрываемой издевкой продолжала Елена Кузминична. — К Губиным за зерном продотряды присылали. С ору-

жием то зерно брали. Этим же губошлепам хватает бумагу прислать. Они семена сами на подводы погрузили и вывезли. Линию, значит, выправили. Чью линию? Нет такой линии, чтобы народ без хлеба оставлять. Попробуй у меня в кассе похозяйничать? Шары выцарапаю, а денег не отдам.

— Пошло-поехало, — добродушно буркнул Лукьян. — Ну-ну.

— Не нукай, не запрэг. Я сама понужну, так не остановишь. Шушукуются, шушукуются. На пасеку их черт понес. Ждет вас там душегуб? Он в селе сидит, чай пьет. Строгости не стало, вот что вам скажу. Я колечко с пальца в поленицу уронила, поленицу по плащечке перебрала, обстукала. Колечко нашло. А чего вы ждете? Когда колечко само выкатится. Мало в вас, дуrolомов, стреляют.

Официальное расследование, однако, не дало результатов. Таиться люди не таились, высказывали здравые догадки. Каждая из них, наверное, могла послужить рабочей версией для дознания. Филька Глуздов вспомнил давнюю историю про коршуна, которого Кешка Гвоздев достал с одного заряда. Дал по этому поводу письменные показания. Но после того, как Кешка принародно пообещал оторвать болтуну башку и приспособить ее вместо рукомыльника, Филька струсил и потребовал эти показания изорвать или другим способом уничтожить. Клавдия Пестерева говорила, что сам Филька еще на заре отправился на луга, а в селе, когда переполох поднялся, оказался одним из первых. Однако ее словам Ковалев не придавал значения. Клавдия может в том побойться, чего и во сне не видела. Трудно было заподозрить в чем-то Фильку, жившего на правах деревенского дурачка, не знавшего, с какого конца ружье заряжается.

Ковалев понимал, что следовательно он никакой, что в Черную Тяжину падо бы послать кого-то поопытнее. С тем, не дожидаясь назначенного срока, он, спустя неделю, подседлал тонконогого Алтая.

XIV

События в поселке Сахалин шли своим чередом. По итогам работы за квартал список ударников на шахте № 5-6 открыл Семен Васильевич Слигин. Шахтеры, помимо всего прочего, достоинства человека определяли еще и тоннами. А с тоннами Слигин наловчился управляться, как с мешками на волжской барже. Не только силой брал. Уговорил пойти к нему в напарники Генку Чернова. Забойщики его на смех подняли: жидковат Генка. Но переубеდი-ка Слигина. Да и знал он, что делал. Уголь сам рубил, Генку же в крепильщики определил. На двоих брали три уступа, по полторы нормы на нос.

К Слигину гости даже с других шахт зачастили. Инженеры мудреные определения нашли для его придумки: специализация и разделение труда. Генка по поселку ходил гоголем, сапоги, как у Слигина, завел с галошами, матери шаль до пят купил.

Встретив вернувшегося Ковалева, Слигин за письмо в Сормово спасибо сказал, зазвал Ковалева в гости чайком побаловать, на прощание предупредил:

— Какой-то гад мутит воду. Парней с толку сбивает. Ты, Афанасьевич, если что не так, ко мне стукни. Я тут любому бугаю рога с корнем вырву. Но и сам поберегись.

Не забыл о своем обещании Пахомов. Приехал в поселок, перед Санькой извинился по всей форме.

С наступлением лета грабежи на пустырях как бы сами собой прекратились. В июне заря с зарей милуется, а бандит в темноту идет, как щука в омут.

Дел у Ковалева хватало. Милицейская работа не только инструкциями и служебными обязанностями, но и характером человека определяется: ищешь новых забот — всегда найдешь.

Случай с Марьиным Санькой заставил Ковалева пристальной присмотреться к поселковой ребятне. Занятия в школах не начались, времени у этой вольницы —

девать некуда. У девчушек все просто. Играют себе в куклы. Их бы только за косички не дергали. У парнишек забавы поопасней. С утра гоняли здесь с улюлюканьем набитый тряпьем мяч и вдруг исчезли всей ватагой. Хорошо, если к вечеру вернутся с лесными лишь трофеями. Но и эти трофеи давались им нелегко. Доказательством тому служили порванные рубашки и приметные синяки, где-то, значит, встретили себе подобных.

Книжку про Буденного Ковалев Саньке купил. Но вину свою перед лобастым мальчонкой продолжал чувствовать. Трудно Саньке жилось. Деньги, которые шахта платила Марье за погибшего мужа, вздорная бабенка пропивала. Меньшие прикармливались от гостинцев, получаемых блаженным старичком от его добровольной паствы. Саньке, не признававшему подавший, было голодно.

Ковалев рассказал Саньке о зареченском Витьке Шестакове, о его отце, сожженном заживо. Немножко приврал в том смысле, что вместе с Федором Кургановым они приструнили Витьку, определив его под домашний арест.

Санька выслушал Ковалева внимательно и на свой лад успокоил:

— Ничего, дяденька милиционер. Я бомбу изобрел. Подступись-ка ко мне, всех на воздух подниму.

«Бомбу» — глиняный шар, начиненный порохом, Ковалев у Саньки изъяс, ухитрившись при этом с ним не поссориться. Но теперь часто ловил себя на мысли, что лобастый может выкинуть фортель почище. Преподаватель физики изобретательством Саньки не нахвалится. Так что запросто кого-нибудь или себя без глаз оставит.

Думал об этом, оказывается, не он один. Пахомов побывал в горькоме комсомола, встретил там полное понимание и вскоре после рейда вызвал на ковер Ковалева и Курганова.

— Как мальчонка?

— Отлежался.

— Злой?

Ковалев рассказал о бомбе.

— Вот-вот, — словно обрадовался этому сообщению Пахомов. — С комсомольей мы так же рассудили. Поселок колючей проволокой не огородишь. Мы перед Санькой извиняемся, а он бомбу мастерит. Такая, братцы-молодцы, ребячья психология. Запретами ничего не добьемся. Надо нам к этой психологии свой ключик подобрать, возглавить стихийное движение, организовать и направить этот поток энергии в нужное русло. Улавливаете, какая стратегия?

— Не очень, — честно признался Федор.

— Решено взамен драк провести с ребяташками Заречных улиц и поселка Сахалин военные игры.

— Мои с кулачатами играть не будут. Не та, как вы говорите, психология.

— Вредную психологию надо переделывать, Федор. Годков через несколько Витьке и Саньке, вполне вероятно, придется у одного пулемета лежать, друг другу раны перевязывать. Мы этих Санек будем еще орденами награждать, в партию принимать. А может, все и наоборот получится, если проволокой их пороть и дегтем раны замазывать. — Пахомов понимал, что дело он затевает щекотливое. Последствия сражения непредсказуемы, потери тоже. — Вся подготовка к играм должна проводиться под нашим контролем. Надо исключить возможные эксцессы. Вы назначаетесь инструкторами при отрядах с правом решающего голоса. Однако дайте развернуться ребячьей инициативе. Иначе им будет неинтересно. Пусть командиры отрядов встретятся на нейтральной почве, обговорят количественный состав, виды оружия, место и время. Изобретательство поощряется. Только без синяков и шишек. Главным судьей поручено быть мне. Для победителей установлен приз горкома комсомола — новый футбольный мяч. Рискованная профилактика. Но нужная.

— Так-то оно так, — засомневался Ковалев. — Только ведь бегать по полю

и «ура» кричать ребяташкам покажется скучновато. Им не столько ум, сколько резвость свою, бесстрашие и силу показать хочется.

— Пусть показывают. Лишь бы без драки. Времени на подготовку дается десять дней.

Ковалев и Курганов вышли вместе.

— Ну, держись, Степан. Раскулачим мы твоих кулачат по всем статьям.

Ковалев остановился, сказал недобро:

— Еще раз услышу — не прощу, Федор. Ты с подобными настроениями сам первый за дубину ухватишься. А зачем?

— Извини, Степан. Но совсем ты классовое чутье потерял. Хочешь, чтобы нас кулачье подмяло?

— Витька и Санька пока в одном классе. В шестом...

XV

Полномочные представители отрядов встретились на берегу чумазой от шахтовых вод речке, обсудили подготовленные инструкторами правила чести. Кому быть «красными», кому «синими», разыграли по жребию. Выпало быть «красными» поселковой ребятне. Даже Федор удивился, какой они по этому поводу подняли радостный галдеж, хотя условиями игры для них предусматривались добавочные трудности: «синим» предоставлялось право первого удара, они могли вести разведку любым способом и засылать шпионов. Поселок, по подсчетам Ковалева, мог выставить почти двести активных «штыков». У зареченцев не хватало полсотни ребят. Им разрешили пополниться за счет наемников, создать «Иностранный легион» на манер французского. Виды оружия обе стороны обсуждать отказались, признав этот пункт государственной тайной. В договоре записали: «без синяков».

Поселковые к предстоящему сражению отнеслись прямо-таки с взрослой серьезностью и сознательностью.

Пустовавший сарай на выгоне превратили в арсенал. Верховодил неистощимый на выдумки Санька. Порой из «арсенала» тянуло такой вонью, что прохожие бегом переходили на другую сторону улицы. Другой раз «арсенал» начинал содрогаться от дружного кашля, а чумазые мастеровые выскакивали на волю с выпученными глазами, зажимая носы подолами рубашек.

Девчонки под руководством Веруньки Огневой развернули госпиталь. Получилось по одной сестре милосердия на каждого бойца. Этого было многовато, однако Ковалев смело пошел на раздувание лечебных штатов. Как ты им откажешь, если девчонки из патриотических чувств пожертвовали дорогим и заветным: тщательно подобранное, обласканное приданое кукол разорвали на бинты, расщипали на корпию. Госпиталь усиленно пополнялся медикаментами, в основном листьями подорожника и желтой ромашкой. Ковалев подарил Веруньке полевую аптечку.

Девочки взяли на себя и заботу о питании армии. Матери, поворчав, выдали своим босоногим помощницам чугуны и кастрюли. Ложки вояки принесли свои. Первый обед на открытом воздухе удался на славу. Каждому досталось по тарелке супа и по стакану молока. Пойманных «шпионов» перед тем, как выводить с позором, тоже накормили. «Шпионами» оказались ребята с железнодорожной станции. Так попутно выяснилось, где «синие» вербуют «легионеров».

В ребячью затею невольно оказались втянуты взрослые. Бородатые папани, воевавшие чуть ли не десять лет кряду, не забыли воинскую науку. Слигин взял на себя устройство фортификационных сооружений. Воевать Слигину на земле не пришлось, но лопатой в шахте он орудовать наловчился. Узкие перешейки между обвалами, по которым проходила основная линия обороны, срочно укреплялись. Окопы рыли полного профиля, с

ходами сообщения, с блиндажами и бойницами. Вместо колючей проволоки использовали кусты шиповника и боярышника, с предосторожностями доставленные из леса.

Попытка каких-то пьяных парней разрушить линию обороны была решительно пресечена тем же Слигиным. По тревоге вызванный постовыми, Ковалев увидел только спины улепетывающих гуляк.

Отгородившись от зареченской стороны густой завесой секретов, установили Санькины «фугасы». Копать при этом пришлось много, но действовали фугасы безотказно: зацепишь ногой не приметную тонюсенькую проволоку, и в воздух взлетает столбом смесь из тертого табака и золы. Без противогаса не пройдешь.

В госпиталь попал первый пострадавший — Леха Стрельников, строго законспирированный «авиатор». Угораздило его напориться на гвоздь. Ногу промыли, залили йодом, прописали постельный режим. Но дежурная сестра вздремнула, и хитрый Леха вернулся в строй.

— Я не в пехоте. Мне нога без надобности.

В милицейскую комнату, превращенную в главный штаб, то и дело врывались запыхавшиеся посыльные, чтобы доложить о полной боевой готовности различных подразделений, передать рапорты и донесения. Каждую поступившую бумагу дежурный по штабу младший братишка Лехи, взятый из резерва, накалывал шилом и аккуратно нанизывал на шпагат.

Делал порученное дело Егорка с усердием, но Санька, назначенный главным командующим, находил причину придраться и давал Егорке «наряд вне очереди» — щелкал по лбу, приговаривал: «Чтобы службу помнил».

Егорка терпел. Резерв вон какой на завалянке сидит. Рассерди Саньку, и он снимет тебя со всех видов довольствия.

Вечером вернулись разведчики. Сообщили, что противник не спит. Пройти

сквозь линию его застав не удалось. Слышали, как стучали молотком по фанере, что-то прибивали. Часто доносился металлический лязг. Пахло кислой капустой и солеными огурцами. Делянка крапивы на пустыре оказалась начисто выкошенной: видать, крапива тоже принята на вооружение.

Результатами разведки Санька остался недоволен.

— Планируй тут стратегию, когда в донесении сплошной туман. Слушали да нюхали. Завтра бой, а мы сидим с завязанными глазами. Смотреть надо было.

— А ты сам бы попробовал, — взъерошился Пашка Чернышев. — Крапиву-то они для кого косили?

Санька растерялся от такого явного нарушения дисциплины. Но что делать, не знал. Пашке наряд вне очереди не влетишь, он сдачи даст. На помощь пришел Ковалев.

— Командиру, Павел, надо отвечать как положено. Иначе у нас не армия, а анархия получится. Разведка же, сам признайся, не удалась.

На последнем совете командиров еще раз уточнили тактику предстоящего сражения, определили место штаба в полевых условиях, назначили связных, договорились о сигналах. Командиры разошлись хмурые и сосредоточенные. Ковалев тоже направился отоспаться.

Поселок в поздний час выглядел безлюдным. Только у дома Марьи сидел на лавочке старик в плисовой шубейке. Но улыбался он, как показалось Ковалеву, не блаженной, а вполне осмысленной улыбкой, кривенько улыбался.

«Не насовсем старичок к богу переселился, — подумал про себя Ковалев. — Стоит, пожалуй, поинтересоваться его родословной».

У калитки стояла Дуся. В белом платочке, в легкой летней кофточке. Дуся тоже улыбалась. Улыбалась открыто, зазывно. Ковалев остановился. Дуся подошла ближе, обойдя старика стороной.

Пахомов занял место на возвышении. На рослом белом коне, ронявшем пену, нервно просившем повода, затянутый в ремни, с пашкой и наганом, с разлапистым биноклем на груди, он выглядел празднично, внушительно. Девушка из горкома комсомола с пионерским галстуком, повязанным узлом, держала в руках главный приз — новенький футбольный мяч. Конная группа наблюдателей в белой парадной форме рассыпалась по полю.

Звонкий сигнал горниста вознесся высоко и певуче. Зареченские начали наступление.

Стройными рядами двинулась пехота. Она ослепительно сияла панцирями, изготовленными из обрезков жести, нашитых на мешковину. Пехота загоразивалась фанерными щитами, на головы ребятишки надели ведра и кастрюли с прорезями для глаз.

Тут же проявили ответную активность поселковые. Эскадрилья высоко реявших бумажных змеев подалась вперед по ветру, нависла над пустырем и кинула на атакующих бомбы с какой-то чихательной смесью. Латники начали сбрасывать ведра и кастрюли и тогда на них обрушился град картофелин, дождевиков, нарубленных в виде палок будыльев подсолнуха. В латную грудь пехотного командира ударились тухлое яйцо.

Звонкая трескотня самодельных пулеметов возвестила о неудаче зареченской пехоты. И тут широкой лавой вырвался вперед конный поселковый эскадрон. От него оторвалась группа ребятишек, избавившая буденовские тачанки, нацеливалась прорваться на правый фланг.

— Хорошо идут! — с чувством сказал Пахомов. Обращаясь к Федору, он добавил: — Посекут твоих латников в лашшу. Почему зареченские дедовскими способами воюют?

— Не посекут. Сейчас отскочат, — сип-

ло ответил Федор. — Только бы Витька не опоздал.

Витюшка Шестаков не опоздал. Навстречу эскадрону выкатились фанерные броневики, с ходу открывшие огонь кислой капустой. Тачанки круто подались назад, попятился эскадрон.

— Правильно, — заметил Пахомов, — против железа с клинком не повоюешь. Чем ты броневики удержишь, Степан?

— Санька удержит, — с придыхом, азартно сказал Ковалев. Он надеялся, что через укрепрайон броневики не проврутся. «Волчьи ямы» ребятишкам помогали оторвать Слигин. «Не торопись, Санька, — мысленно подсказывал Ковалев, — подожди, когда машины увязнут. Тогда и атакуй».

Но вдруг «эскадрон», смешавшись нестройной кучей, вырвался из провала и, нарушая оговоренные правила, опрометью побежал к возвышению. Санька еще издали закричал:

— Там мертвяк! Мертвяк там!

Вода в провале держалась долго. Сюда ни солнцу, ни ветру не было доступа. Сквозь тонкий слой воды виднелось лицо, черное, до неузнаваемости смятое, видимо, одним тяжелым ударом. Шея от уха до уха сильно и размашисто была перерезана чем-то острым. Над водой, словно умоляя о помощи и жалости, вскинулась вытянувшаяся рука с ребячьими пальчиками.

— Дуся? — спросил Пахомов.

Горло Ковалеву сдавило, он только кивнул.

— Федор, карьером в райотдел. Тащи

следователя. А ты, Степан, крепись. Нельзя нам свою слабость на людях показывать.

Страшная весть всполошила поселок. Едва Пахомов и Ковалев спустились в провал, как его окружила толпа. От толпы отделилась женщина в черном, на коленях сползла в провал, схватила вскинутую руку.

— Доченька моя... Сиротка моя...

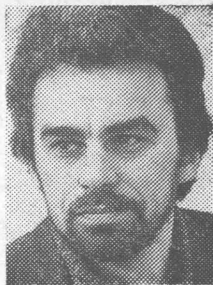
Дусю вынесли наверх. Слигин снял с себя легкий плащ, накрыл ее, а сам подошел к отдельно стоявшим Митьке Разгону и Ивану Трошину. Ударил он, как бьют грузчики, коротко и без замаха. Иван тряпкой повис у него на кулаке. Толпа с ревом бросилась на парней. Пахомов предупреждающе выстрелил вверх. В толпу ринулись милиционеры, отшвыривая озверевших людей. Парни уже пускали кровавые пузыри. Рядом с ними катался Слигин: через щеку у него тянулся глубокий порез. Дико закричала Нютка.

Через пустырь прытко побежал старик в плисовой шубейке.

— Задержите его! Задержите! — закричала Анна Савельевна. — Он Василия моего жег. Он девчущку на вилы поднял. Я вспомнила.

Ковалев прищипорил коня. Старик обернулся, ощерился. В руке его сверкнул нож — остро заточенный обломок косы, заправленный в рог...

Это только говорят, что конь боится наступить на человека. Алтай даже не вздыбился, не свернул в сторону.



ЗЕМЛЯ

И не туда еще нам мчаться,
и не таких достать высот,
с собою прихватив на счастье
шепотку от земных щедрот.

Куда б ни вознеслись рисково
мы изощренностью ума,
наш взор всегда к Земле прикован,
как неподъемная сума.

И так и сяк уже пытались
мы эту тяжесть одолеть,
но погружались, погружались
в родимую земную твердь.

Где наши чаянья, и чувства,
и промысел рабочих рук,
и пашни вечное искусство,
и этих строк блеснувший плуг...

ЛЕС

Другу охотнику

В его глубины погрузиться
и, по приметам, по следам
выслеживая зверя, птицу,
листать страницу за страницей
Живую Книгу, где и сам
ты с огненной своей десницей...

К закату снежный лес — стеной...
И взглянешь ты на облака
с их бесконечною войной,
с лыжной над ними кровавой...
Шумит истории река...
Проходит время над тобой.

Но след уводит дальше, в глушь —
к порогу древнего жилища,
где стая осторожных душ,
еще земных не зная нужд,
твой человеческий облик ищет...
А ты с ружьем заботам чужд!..

И будет тишина окрест,
как в глубине километровой,
где намертво спрессован лес.
И... может быть (когда — невесть),
вернут потомки к жизни новой
все то, что бушевало здесь...

Внезапно остановит ветер
стена живая... Это лес.
Продравшись сквозь тысячелетья,
опять мелькнет плавник медведя,
раздастся волчьих крыльев треск...
И странная в глубинах этих —

твоя лыжня блеснет неровно...
И вот появится тогда
пробивший вековую дрему
громовый отзвук незнакомый
кровоточащего следа
с военного аэродрома...

Николай Астраханцев

НА БЫСТРОЙ РЕКЕ

РАССКАЗ

Михаил Корнеев — мужик, покалеченный на лесосплаве. Он бросился связывать разбитую о скалистый берег последнюю связку плота и... соскользнул в холодную енисейскую воду. Помятого и окровавленного, с раздавленной ногой вытащили плотогоны своего товарища на палубу буксира, не надеясь на то, что выживет. Михаил выжил. Срослись кости, но вместо ноги — пустая штанина завязана узлом, на правой щеке — от уха до подбородка — остался бледно-розовый с рвано-кривыми рубцами шрам. Чтобы скрыть уродство, он еще в больнице отрастил бороду желтушного цвета, густо-курчавую, которая комковато клубилась на его широком лице.

Из больницы Корнеев добирался до дома на попутной машине. Уже по зимнику. Болезнь истощила его крупное мускулистое тело, ссутулилась спина, и только плечи стали как будто шире, когда обхватывали жилистые руки «палки-деревяшки». Таким его увидели в поселке и не признали сразу.

Шагал Михаил, скрипел снег под валенком, звенел под резиновыми пятачками костылей, а он шел и кивал головой знакомым, пытался шутить, но в серых широко расставленных глазах была тоска, жгучая и отталкивающая. Встречные знакомые, справившись о здоровье, торопились отвести взгляды, спешили по своим делам. Но каждый знал, что Корнеева дома никто не ждет. И

разве не он виноват в этом? Собственными руками разорил свое гнездо. Просил не допускать к нему жену Наталью. В единственном письме домой запретил его ждать, угрожал ей тем, что уедет «куда глаза глядят», если она все-таки, наперекор всему, встретит его на пороге родного дома? Все это было. И кто знает, может, Наталья больше от обиды, чем от ухаживания заезжего экспедитора Максимова, привозившего продукты в поселок, решила порвать с ним. Слухи ходили разные. Кто-то обвинял Корнеева, но в основном осудили «бессовестную и беспутную» Наталью. А осенью забрала Наталья семилетнего Вовку и четырехлетнюю Людмилку и уехала, опять же по слухам, вместе с Максимовым куда-то на Кубань...

На перекрестке Михаил завернул на улицу, которая ровной стрелой взлетала на бугорок. Дорогу обступили деревянные двухквартирные дома с шиферными крышами, хозяйственные постройки, а возле ровных тесовых изгородей лежали поленицы заготовленных дров. Он шел к сестре Анне в тепло и уют, а там, в низине, его заколоченный дом, остуженный зимой, сиротливо прижимался к вековой лиственнице и хмуро глядел темными окнами на искрящуюся белую ленту реки.

...С тех пор прошло несколько лет, и судьба Михаила вновь повернула свое колесо. Ему захотелось тепла. Он сошелся с местной вдовой. Она не забыла еще

прежнего русоволосого парня, красивого и сильного, единственного, кто мог переплыть стремительный Енисей. И если бы не приезжая та русалка, Наталья, то кто знает — может, и сбылись бы ее мечты. И другое: в доме без мужика одна беда за другой. Надежда в свои двадцать семь лет сохранила красоту и свежесть, и льнули к ней, как шмели на яркий цветок, заезжие шофера и лесорубы. Она сошлась с Михаилом, только радости было мало обоим — скандальным стал Корнеев. Единственное, что согрело душу, взяла власть над Михаилом — ее дочь Варя. Высокая не по годам, худенькая и угловатая девочка сразу привязалась к нему. С первых дней Михаил брал ее с собой на рыбалку. Зная хорошо реку, ее характер, рыбные места, он ставил палатку у берегов, где густела ягода. Сколько она услышала историй и легенд о реке? В воображении девочки река была сестрой гор, крутого утеса и тайги, неустанно сердилась сварливо на донные камни и ласково шепталась с золотистыми песками. Река была жизнью людей, поселившихся на ее берегах, голубой дорогой к городу, который тоже не мог существовать без студеной, хрустально-чистой речной воды.

И когда Корнеев приходил домой пьяным, начинал «бузить», Надежда звала дочь. Под взглядом голубых глаз Вари, от ее улыбки Михаил смягчался, добрел лицом, и от всего того скверного, наносного и болезненного как бы очищалось сердце — он грубовато шутил, ласкал жену и дочь, и со стороны казалось, что семейное счастье вселилось в этот дом давно и прочно.

Осенью Варя уехала учиться в Красноярск. Побурели и осыпались мелкие иглы лиственницы, густо зеленели ели по островам и берегам реки. Потянуло жгучим холодом по распадкам. На далеких горных вершинах заискрился снег, а потом пришла зима, долгая до вечности... По первой пороше Михаил уходил недалеко от поселка и обосновывался в своей

избушке, которую срубил сам еще в былые времена. Промышляя в основном соболя и белку, ставил капканы. Ходить на одной лыжине было трудно; хотя он приспособил вместо лыжных палок костыли с самодельными ивняковыми кольцами. Другие охотники жалели его. На его участке и даже вблизи не охотились.

Когда надежный снежный наст ложился в тайге, Корнеев возвращался домой, весь заросший и исхудалый, и, сдав пушнину, коротал время до весны. В этом году для Михаила убежищем вновь стала пристройка, где на козлах стоял каркас новой лодки. Старую, из доброго дерева, унесло ночью быстрым течением и разбило на Кочинском пороге. Эту — длиной в семь с половиной метров — начал делать еще до отъезда дочери.

Когда талые воды хлынули с гор по расщелинам и распадкам, с грохотом обрушивая дикие камни в Большой Енисей, вытащил Михаил вместе с мужиками свою остроносую посудину на покатый каменистый берег, проконопатил и просмолил. Лодка получилась удачной, и Корнеев с радости распилил с мужиками бутылку водки и тут же, на берегу, когда хмель захлестнул голову и разлился по телу, отбросил в сторону костыли, начал неуклюже пританцовывать. Его тень в лучах заходящего солнца переламиналась, скользила по ржавеющему песчаному дерну, по горящим стволам деревьев, и казалось, что вышел лесной колдун и задергался в пляске.

Зять Михаила, Степан Рассольцев, невысокий, смуглый, с запавшими щеками и крупным шишковатым носом, стал урезонивать:

— Опять затоптался! Сядь, не смейши людей.

— А я казак, Степша. Душа-то воли просит.

— Была бы душа, а то одно название. Натаха от твоей души к черту на кулички подалась.

— Ты этого не трожь! — Корнеев устало присел на выброшенную половойдем лиственницу и бросил буравящий взгляд на зятя. — Я казак, Степша, и бабе в ноги кланяться не буду.

— Дурак ты, а не казак, — прожевывая хлеб с салом, презрительно пробормотал Рассольцев. — Слюни распустил и кривляешься. Тошно глядеть...

— Тебя, Степша, не вырвет.

— Хватит, мужики! Чего завелись? — стал их мирить Иван Сомов, долгоязыый мужик в штормовке. — Родня ведь...

— Родня, как марал зайцу! — Корнеев подобрал костыли и припрыгнул к компании. Сел по-турецки. Огрубевшими пальцами стал поправлять пустую штанину. — Так что лопай, Степша, и не кочевряжься... Да не торопись, а то жадность погубит.

Степана будто пружиной подкинуло. Лицо потемнело. Тонкие костистые пальцы сжались в кулаки.

— Ну, знаешь, — прохрипел он.

— Ничего, переждуешь, — в бороде Корнеева пряталась кривая улыбка.

— Вы чего, мужики, на самом деле? — округлое, как тарелка, толстогубое бабье лицо Василия Перевалова расплылось в добродушной улыбке. Близорукие глаза удивленно моргали. — Мало выпили? Вон ее, заразы, сколько еще осталось. А ты, Степан, зря так. Пусть пляшет.

— А ему на двоих ногах скучно, вот он и щерится как соболю. Вот он с сестрой меня все учит.

— Ладно вам. В Верховья-то, Миш, скоро пойдешь? — стараясь переменить разговор и погасить вспыхнувшую ссору, спросил Сомов.

— А завтра и пойду. Пойдем вместе? Жаль, что Вари нет. А ты, Степша, выпей на дорожку и иди раскатывайся на своих «жигулях».

Иван с Василием переглянулись. Рассольцев сплюнул и пошел, нахохлившись, по тропинке в поселок.

— Ты, гляди, обиделся, — вслед зятю усмехнулся Михаил. — Завтра прибежит.

Такого еще не было, чтобы так... отказаться...

В таежном краю без лодки, как комару без болота. Это раньше было — переступишь порог своего дома — вот тебе ягода и рыба в реке. Но времена менялись. Чем больше прибывало народа в поселке, а в последнее время туристов и разных «заготовителей», тем выше приходилось уходить по реке и дальше в тайгу. Сообразительные и хозяйственные лесорубы обзавелись лодками. Вот только Рассольцев начудил: продал лодку и купил машину. Казалось, что тут особенного, если б не одно «но». Куда на ней поедешь, — вокруг горы и тайга.

Степан проснулся в третьем часу ночи, увидел свет в окнах дома Корнеева. Утром сказал Анне:

— Опять Мишка забутыливает. Вчера он на меня наговорил чего и врагу не пожелало.

— А что с него возьмешь. С Натальей, сам знаешь, жил хорошо. Никто плохого не скажет. А тут такое несчастье... — вздохнула Анна, надевая платье.

— Живут же люди, на своем веку не такое повидали, — Степан затопил печку, поднялся. — А он? Чуть жизнь прижала — рассопливился.

— Зря ты на него так. Гордый он. Бабушка говорила, Михаил весь в деда.

— Ну да, еще скажешь, казачья вольница в нем играет, — Степан заходил по кухне, нервничая. — Дед георгиевский кавалер, красный партизан... А он кто?

— Миша-то? Он же был первым плотогоном на реке, первым охотником. Он реку знает лучше, чем ты свой двор.

— Опять ты его защищаешь! Нет, чтобы братца своего укоротить, а ты ему поддакиваешь. Он может плевать на меня, а тебе все равно!

— Больно я ему поддакиваю, — обиделась Анна. — Как встретимся, так все-

гда до скандалов доходит. Тебя вон наслушаешься...

— И тут я виноват! — Степан раздраженно махнул рукой и вышел из дома.

Анна взялась готовить завтрак. Была она, как все в роде Корнеевых, женщиной крупной и светловолосой, с миловидным лицом и с неторопливыми движениями хозяйки, которой некуда спешить. Крапчато-зеленые глаза лучились добротой и приветливостью. И только иногда, когда Степан был на работе или в тайгу уходил, находила на нее тоска по детям. Она приглашала соседских, кормила и поила их, дарила игрушки. Степан возвращался, видел заплаканные глаза жены и зло ворчал: «И что ты за баба такая! Тут ни минуты покоя, ни отдыха не знаешь, а ты?» — «А для кого жить, Степа?» — спрашивала она.

После таких слов сразу как-то сгибался, тускнел Степан и доставал из шкафа бутылку. Пил он немного, а потом уходил на берег реки. Там его с удочкой и находила Анна. А ночью, лаская его худое тело, думала о том, что в жизни она все-таки счастлива со Степаном. В доме есть все, и хозяйство большое держат. Машину первые купили в поселке. Живут почти так, как по телевизору показывают. И одевается она не хуже городских, и украшения ей купил Степан. И к книгам он же ее приохотил. А ведь у других, поглядишь, не все складно получается, и от мужей вместо ласки кулаки получают. Нет, она все-таки счастлива.

Солнце выкатилось из-за горы, зарумянились цветы на окнах, посуда в серванте, и Анна плавала в этом розовом потоке лучей, как давным-давно на сенокосе, ранним утром, когда впервые увиделись со Степаном...

Рассольцев зашел в избу.

— Ты чего это? — спросил он, подозрительно глядя на улыбающееся лицо жены.

— Да так. Ты вот вчера говорил о том, что Миша собирается в Верховья.

— Ну, — Степан нахмурился.

— Может, и меня возьмете?

— И не выдумывай. Не пойду к нему кланяться.

— А ты сходи, Степа, к нему, — Анна накрыла стол и стояла, просительно заглядывая в глаза мужа. — Привезете рыбы.

— После вчерашнего...

— Кострюковы просили прислать хариуса. Дочка их замуж выходит.

— Взамен что обещали? — в чуть раскосых глазах Степана мелькнуло любопытство.

— Ты же просил импортные ботинки для себя. Пищут, что пришлют.

— Долго ждать от них приходится.

— Так ты сходишь?

— Ладно, — согласился Рассольцев. — Дай-ка мне бутылку. Она ему сейчас кстати. Может, и уговорю.

Степан пришел к Корнееву, когда тот сидел на крыльце. Измятое лицо, покрасневшие глаза говорили о том, что Михаил кутил почти всю ночь.

— Эко тебя растащило, — улыбнулся Степан. — Все, наверно, допили?

— Тебе, что ли, было оставлять? — буркнул Михаил, почесывая заросшую грудь.

— Свое имеется, на чужое не заримся, — Рассольцев победно глянул на хозяина, вытащил бутылку из кармана. — Сестра дала жалеючи.

— Пожалела... — сплюнул Михаил. — Тебе-то чего надо?

— Мне? Ничего... — Степан лицом изменился. Желваки заходили. — Могу забрать обратно, раз ты брезгуешь.

— Ну да? Сестра дала, а зять отберет? — кривая улыбка пробежала по лицу Михаила.

— Пришел как к человеку...

— А ты, Степша, не юли. Ведь зря-то не придешь! Почуял рыбку, и с утра пораньше.

— Дак Анна обещала! Сколько я ей говорил: кончай все эти шуры-муры.

— Значит, обещали! — протянул Михаил. — Жадные вы, Степша. Кому копите, коль детей нету?

— Умрем, тебе достанется, — хихикнул Рассольцев и нервно завертел пальцами.

— Вы только побольше копите, — криво усмехнулся Корнеев.

— Здравствуйте, Степан Матвеевич! — из избы вышла заспанная Надежда. — А я-то думаю, кто это в такую рань заглянул? Еле выгнала этих оборотов.

— Ты иди и на стол приготовь, Распелась! — Михаил недовольно посмотрел на жену.

— Не шуми, прод! Дай хоть с человеком поговорить, а то ваши маты всю ночь слушала. Совесть совсем потеряли.

— А ты не потеряла? Стоишь здесь почти голышом.

Надежда хлопнула дверью. Через несколько минут вынесла стаканы и закуску на крыльцо. «В избу постеснялась пригласить, — подумал Рассольцев. — Такую жену да другому мужику. И чего только Михаилу не хватает. Пенсию нормальную получает, работой не связан, промышляет. Деньги так и польются рекой».

Молча выпили, закусили. Степан повеселел и, оглядывая хозяйство Корнеева, хмыкнул:

— Все-таки зря на меня обижаяешься, Миш. Живешь, как на семи ветрах. Медведь и то берлогу лучше сладит.

Изба у Корнеева небольшая. Давно оштукатуренная и побеленная, она и сейчас выглядела неказистой и запущенной. У нижних венцов, словно плешины, проглядывала пакля и сетка драпки. Краска на оконных рамах и дверях потрескалась, местами осыпалась. Двор был захлямлен и неуютен. Все хозяйство — две собаки. Они вертелись здесь же, внимательно поглядывая на хозяина.

— Живу, как умею. Ума занимать у тебя не буду, — нахмурился Корнеев.

— Можно и занять, — усмехнулся Степан. — Ты думаешь, машину я для сме-

ха купил? Еще год-два, а там махну на запад.

— Так тебя там с распростертыми объятиями ждут.

— А вот твоя Наталья и приглашает.

— Это што... сорока на хвосте приглашение принесла? — голос у Михаила дрогнул.

— Да я вчера просто из-за скандала не стал говорить. Прислала она на днях письмо Анне. Как видишь, не забывает родственников.

Надежда, услышав о ком разговор, стала чертыхаться в кладовке.

— Ищи тут сам! Никогда к месту не приставит, не положит. Ищи тут в хламе...

— Ну, ладно, забирай, — сказал Михаил Рассольцеву, указывая на канистры с бензином. — Ключ знаешь где и ставь движок. А я сейчас...

Рассольцев унес канистры. С крыльца было видно, как он суетится возле лодки.

— Ты там скоро? — спросил Михаил у жены.

Надежда вышла и бросила дождевик на крыльцо.

— У Степана поучился бы хозяйствовать. Все у него к месту прилажено. Не мужик, а золото.

— Чего ж тогда за меня пошла? Могла бы себе и Степана выбрать, — зло спросил Корнеев.

— Дурак ты, — засмеялась Надежда. — А на дураках удобно ездить.

По дороге к реке Михаил подумал: «И золото с дрянцой бывает».

После обеда день выдался солнечным и тихим. Они медленно обогнули золотистую косу полуострова и вышли из затона на стремительную струю реки. И как только поселок скрылся, Корнеев прибавил газ — лодка, задрав нос, быстро понеслась вперед, распарывая зеркально-зеленую поверхность воды.

Горы, как горделивые красавицы в пестрых каменистых платьях, то загля-

дывали в реку, сжимая ее в свои объятия, то, словно застыдившись, отступали и прикрывались густым частоколом елей и лиственниц, таяли за голубой вуалью тумана.

Свежая зелень радовала глаза. Корнееву показалось, что в этом году весна пришла какая-то особенная, приветливая, согретая ранним теплом и нежным запахом хвои. Такая вот весна была в молодости, когда он встретил Наташу.

«Разбередил, разбередит! Рассольцев, — глядя на Степана, сидевшего на носу лодки, подумал Михаил. — Ждал, видимо, подходящее время...»

Наталя приехала в поселок к родственникам и осталась, ошеломленная красотой гор и тайги и любовью. Она ждала Михаила терпеливо, просиживая целыми часами на утесе, а внизу извивалась змеей река. Наталя разговаривала с ней как с подругой и соперницей. И река крепко хранила тайну их разговоров и щадила до поры плотогона Корнеева.

А осенью они сыграли свадьбу...

И стоит вот сейчас Михаилу закрыть глаза, как всплывало с речной глубины лицо девушки: мягкие, волнистые, пшеничного цвета волосы, ямочки на округлых щеках и серебристая россыпь в синих глазах. Казалось, что ее глаза вобрали цвет неба и реки, и согретые теплом горячего девичьего сердца, излучали столько любви, что хватило бы им ее на десять веков...

— Отворачивай, отворачивай!

Корнеев открыл глаза. Они прошли первую охотничью избушку, скрытую от реки хвойными деревьями. Осторожно, напрягая зрение, Михаил стал держаться стремнины.

Выйдя из-за крутого изгиба реки, Корнеев увидел, как зять напрягается всем телом. Он знал, что впереди шивера. Лодку уже начало легонько постукивать о камни, будто кто-то снизу забивал гвозди. Степан боялся этого места. Вода по-разбойничьи вертелась в завалах леса, перемешивалась в камнях. Слышался за-

хлебистый рев двигателя — вода пружинила, замедляя движение лодки. Она была здесь хозяйкой и повелительницей, и редко кто осмеливался ослушаться ее гневного, исходящего из холодной и темной утробы, голоса.

Корнеев верил в свою лодку, в двигатель. «Это не дюралька, которой и гнилой сук затонувшей лиственницы угрожает смертью», — подумал он и немного покуражился. Лодка ложилась то на правый, то на левый борт, и руки Рассольцева темнели от напряжения, спина вдавливалась, прижимая живот к скамейке.

«Так, так, Стенша, не этого ты поля ягода. Катись-ка ты лучше на Кубань. Там и реки спокойнее и жизнь удачливей. Хочешь здесь год-два еще пожить? Так держит тебя еще тут нажива. И рыбку в посылках плешь, а оттуда деньги переводом, и шкурки утаиваешь на черный день. Жадность тебя гложет. И то, что ты на моем участке хозяйничаешь, знаю и презираю тебя поэтому...»

Лодка вырвалась из плена водоворотов, весело устремилась вперед. Горы здесь встали ниже и гольцы были уже редкостью. Тайга стояла сплошная, плотная.

Они плыли еще несколько часов. Оставалось до стоянки километров пятнадцать, когда Рассольцев подхватился и, указывая рукой вперед, закричал:

— Рысь, Мишка, рысь!

Зверь плыл наискосок, и было видно, как его короткое туловище вытянулось в воде, круглая тупомордая голова с прорезями огнистых глаз распарывала волнистую стремнину переката.

Рассольцев уже забыл о пережитом страхе и, теряя всякую осторожность, бессмысленно размахивал руками, топтался в лодке, покачивался, словно стоял на болотной кочке.

— Гляди, свалишься! — предупредил Корнеев, чувствуя, как в виски ударила кровь, ошалело заколотилось сердце.

Стало жарко. Он направил лодку на хищника.

— Под себя пусти! — голос Степана сорвался и прозвучал отрывисто, хрипло.

Лодка и зверь сближались. Корнеев подумал, что еще несколько секунд и рысь с проломанной головой, кровавая вода, забьется смертельными судорогами. Он закрыл глаза. Вода кипела за бортом, трещал двигатель.

— А-а-а!

Еще ничего не понимая, Михаил смотрел на Рассольцева, пятавшегося к корме. Потом зять упал, дернулся, и пополз на четвереньках через фляги и канистры.

На носу лодки сидела рысь. Зверь отряхивался, и брызги летели в людей, словно они попали в полосу дождя.

— Ружье-то, ружье где? — Рассольцев испуганно бормотал и нервными движениями шарил по днищу лодки.

Ружье лежало рядом со зверем.

— Там, где ты положил, раззява!

Корнеев не мог себе простить оплошность и в то же время спасение, зверь газ, и лодка, осев, быстро потеряла скорость. Чувствуя приближающуюся опасность, и в то же время спасение, зверь сделал немислимый рывок из воды и вцепился когтями в деревянный борт лодки. Сейчас рысь смотрела в глаза людям и ждала.

Острые кистицы ушей вздрагивали.

Корнеев понимал, что шутки с этой кошкой плохи. Одним неосторожным движением можно вызвать ее ярость.

— Сиди спокойно и не двигайся! — прошипел он Степану.

Рассольцев прижался к ноге Михаила и притих. Временами пробегала дрожь по его телу, Степан вертел головой и в глазах, слезящихся, стоял страх.

Прошло несколько минут, а Корнеев не мог ничего придумать. Показался островок, небольшой, с песчаной отмелью. Вот лодка почти поравнялась с берегом, чиркнуло днищем по галечнику, и вдруг Рассольцев рывком вскочил и, набирая воду в сапоги, кинулся к берегу.

— Куда, мать твою! — крикнул Михаил и выставил вперед костыль.

Выпуклый лоб Корнеева покрылся испариной. И в такой, может быть, неподходящий час он вспомнил, как когда-то его грудь так же сдавливала боль. На Кочинском пороге...

Они дошли до порога удачно. После дождей вода была глубокой, и шли они ходко, без напряжения. Но впереди... Большой Енисей, Бий-Хем по-тувински, разрезал горный хребет, сдавливался гранитными берегами и стремительно врывался в створ, заваленный многотонными скальными обломками. Кипевшая вода обваливалась с порогов, перебрасывала русло то под один скалистый берег, то под другой.

Плоты, крепко связанные, ведомые буксиром, в полутораметровый перепад нырнули с нарастающей скоростью. Суденышко подкидывало, бросало к берегам, но мощные двигатели вырывали его из губительной струи. Никто не ждал, а вернее всего, и команда буксира, и бригада сплавщиков чуть успокоились, выйдя из водоворота, как последний плот затянуло под скалу. Крепления не выдержали...

Это было безумством. Михаил и сам не помнил, как кинулся связывать плот. Он тогда только знал одно: труд сотни людей, его труд, пропадет. Кто-то из парней кричал в спину. Свободно плывущее бревно крутанулось под ногами. Вода, обжигая холодом, обняла плечи. Наплывшие бревна сомкнулись плывущей стеной. Судорога стягивала тело. Ему хотелось жить. Жить! Ему была нужна сила. Он был сильным. Главное разгрести плотно плывущие бревна. Удалось. Он схватил полным ртом воздух и снова погрузился. Сук проплывающего в воде бревна зацепил штанину. Опять наверх, к свету. Руки и ноги как деревянные. Бригада застыла в оцепенении. Хотел крикнуть — хрип. Его несло к камню — валуну.

...Корнеева вытащили из реки. Окро-

вавленный, с раздавленной ногой, с переломанными ребрами, лежал он на палубе и смотрел на горы.

— Здорово тебя, парень, подвернуло, — сказал кто-то, склонившись над ним. — На вот спирту глотни.

Михаил отказался. Потом с удивлением вспоминал. До самой больницы сознание не терял. Живуч был.

Боль, когда его прижало к камню, он помнил. Вот и сейчас ноющим отзвуком откликнулась она где-то внутри. Он явно почувствовал это, и страх стал закрадываться в сознание...

Лодка шла тихим ходом. Остров остался далеко позади и виделся он маленькой желтой тарелкой. Рысь настороженно смотрела на человека. — «Лучше уж прыгнула бы», — подумал Корнеев.

Он знал, что зверь опасен в первом броске, неожиданном, поэтому коварном. В силу своих рук он верил, если что — задушит.

с. Борисово

Михаил сбавил газ и стал приближаться к берегу. Рысь заволновалась. Длинные крючковатые когти нетерпеливо зацарапали дерево. Когда оставалось метра два до суши, она сжалась в комок и прыгнула, шлепнулась всеми четырьмя лапами на мель и побежала к ельнику. Перед тем, как скрыться за густым лапником, она оглянулась.

Михаил тупо смотрел на зверя. При заглушенном моторе лодка, покачиваясь, плыла по течению.

День клонился к вечеру. Косые солнечные лучи пронизывали горную тайгу. Где-то прокричала кедровка.

«А ведь Степша тогда в больнице сказал о том, что видел на утесе Наталью вместе с Максимовым. Он же тогда также подробности изложил. А было ли это?» — Корнеев горько улыбнулся, и борода его вскинулась, заиграла медью...

А дома, приехав в гости на несколько дней, ждала его дочь Варя.



Татьяна Андреевская
Участник областного семинара
молодых литераторов

МАТЬ

Как много на Земле
моих детей убитых.
Они спешат ко мне
из всех обид забытых.

Я детских глаз зарю,
как Мать, встречаю стоя.
«Придите, — говорю, —
Я сердцем вас укрою».

* * *

Ах, как глупо по перышку
сильные крылья растрачены,
ах, как глупо по камешку
розданы материки,
да и было ли это
для нас в небесах предназначено,
да и были ли земли
для нас на Земле велики?

Но, жалких,
опять нас подхватывал ветер.

Черной пахоты комья
в горячие руки легли.
Мы кричали от страха:
«О, сколько же неба на свете!»
и в падении ведали,
сколько дано нам земли.

* * *

Я сильна, как Атлант,
я держу свое небо в ладонях, —
Небо мира,
где Солнце рождается
в трепете ночи,
где глаза золотые
в горячих губах засыпают...

Я впервые покорна!
Покорна неоценимо.
Твоему нещадящему,
твоему уходящему
взгляду...

Я устала от собственной силы!
О, как я устала...

г. Новокузнецк

Вера Лазарева
Участник областного семинара
молодых литераторов



ЗВЕЗДОЧКА

Я стала октябреньком
С сегодняшнего дня!
Есть маленькая звездочка
Под шубкой у меня!

Портфель на снег поставлю
И шубку распахну —
Еще один разочек
На звездочку взгляну!

СЧИТАЛКА

Куры плавают в пруду,
Рыба ползает по льду.
А медведь лежит на дне,
Просит: «Дайте жабры мне».

Это просто шутка —
Выходи, Мишутка.

Я И МАМА

У меня глаза зеленые,,
И у мамы тоже.
Друг на друга с мамою
Очень мы похожи.

На щеках по ямочке,
Черные реснички,
Только нет у мамочки
Тоненькой косички.

НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ

Я надела босоножки
На высоких каблуках.
Ковыляю по дорожке
Палки лыжные в руках.

Как же мама
Ходит прямо
И не спотыкается?
Я иду, а подо мною
Улица качается.

Евгений Богданов



СПАСИБО ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ

РАССКАЗ

В середине апреля Сорокин рассчитался с метеостанции и вернулся в город.

Матери дома не было. В кухне на столе лежало от нее письмо. Мать сообщала, что если Толенька надумает приехать, то пусть знает — она в Бийске, у сестры. Та при смерти и позвала проститься. Сорокин усмехнулся: эта тетя помирает уже не первый раз.

Он обошел квартиру. Все было как и год назад. Даже сигареты лежали там, где он их оставлял — на крышке радиоприемника. В комнате было чисто — ни пыли, ни копоти на стеклах. Значит, мать уехала не так давно. Сорокин покурил и пошел мыться. В новогоднюю ночь у них на станции сгорела баня, и он истосковался по горячей воде. Ванна, конечно, не баня, но все равно было хорошо: он разомлел в тепле, захотелось спать.

Утром он долго нежился, листал журналы. Их скопилось порядком, и он читал, пока не заняла спина.

К вечеру стал собираться к брату. Тот был женат. Жену взял с ребенком, но зато с квартирой. Неплохо устроился. Сорокин порывлся в рюкзак, захватил кулек с кедровыми орехами и пошел в гости.

Вчера он приехал поздно и как следует не огляделся. Снег в городе лежал хлипкими островками и растекался в грязные лужи. А там, в горах, снег был жестким и чистым. Сорокин вспомнил об этом без жалости: везде свои радости,

не надо только торопиться привыкать.

Брат был дома. Они обнялись, схватились бороться. Сергей был младше Анатолия, но выше, тучнее. Он шумно фыркал и не поддавался.

— Смотри, Сережа, не лопни, — вышла к ним Надя — жена брата. Глаза у нее были сонными, сладкими. На щеке розовел рубчик от браслета.

Анатолий вспомнил про подарок. Надя взяла орехи, отсыпала себе в ладошку:

— Спасибочки, конечно...

— Все спишь?

— А ты мог бы и предупредить, что приехал, — потянулась она, — у нас, между прочим, телефон теперь...

Сорокин взялся объяснять: долго добирался, устал... Надя не дослушала:

— Ладно, я эти твои песни наизусть знаю.

Она отправила мужа в магазин. Анатолия позвала с собой на кухню. Разделявая курицу, жаловалась на Сергея: гвоздя не забьет, самой приходится крутиться, чего не коснись. Хорошо, хоть шить стал.

— В смысле. как — шить? — не понял Сорокин.

— На продажу — как... Зимой юбки шил, сейчас на «бананы» спрос.

— А почему не ты?

— А мне и так забот хватает. Продукты, тряпки — все на мне. Да и получаю я — не сравнишь с его. Так что пусть повкалывает.

Новость эта Сорокину не понравилась.

Надя и раньше пилила Серегу насчет денег, а теперь, видать, допекла.

Надя поставила курицу в духовку, повела Сорокина в комнату. Стала показывать обновы — кофточки, курточки. На ходу прикидывала все это на себя, ловко поворачивалась перед Сорокиным:

— Ну, как?

Он смотрел на ее ухоженное разгоревшееся лицо, кивал.

Наконец вернулся Сергей, помахал пустой сумкой:

— Бесполезно. Очередь на полкилометра.

— А без очереди не мог? — спросила Надя.

— Там милиционер у входа — иди возьми.

— Я-то возьму... — усмехнулась Надя. — Артема не видел?

— Идет.

Зашел толстый белобрысый мальчик. Сонно посмотрел на Анатолия, поздоровался.

— Ты что, по лужам ползал, свинья такая?! — закричала Надя.

Мальчик оглядел себя, провел пальцем по грязному на животе свитеру:

— Меня толкнули...

Надя схватила его за руку, потащила в ванную.

— Развезло его у вас, однако, — сказал Анатолий.

— Перекормили, конечно, — поморщился Сергей, — сейчас на диету посадили, так что... пойдем пока в шахматки.

За шахматами поговорили. Анатолий спросил про мать. Сергей пожал плечами: да жива-здорова вроде. Они ей подкидывают кое-чего из продуктов: колбаски, рыбки. Так что все нормально. На службе все по-старому — ни работы, ни зарплаты. Насчет выпивки, правда, кранты перекрыли.

Надя вытолкнула к ним Артема и сказала, что сходит к подруге — у той кое-что может быть. Мальчик надел очки и сел перед телевизором.

Анатолий спросил про шитье.

— Есть такое дело, — повел плечами Сергей, — а что? Будут вопросы?

— Не правится мне это твое дело — юбочки, штанишки... Так и до бюстгалтеров докатишься. И вообще чего это тебе вдруг приспичило? Баба, что ли, одолела?

— Не правится — не ешь, — сказал Сергей, — это дело хозяйское. Тебе охота по соснам лазить, ну и на здоровье. Я же не запрещаю.

— А тебе что охота?

— А мне охота на мерседесе прокатиться.

— Серьезно?

— Я тебе вполне серьезно. Но это, конечно, не в первую очередь. В ближайших планах у меня видео — через пару месяцев приходи смотреть. Потом хату надо сменить. И так далее. А на все, как ты понимаешь, мани-мани нужны.

— А что, по-другому нельзя на это подзаработать?

— Где? Про нашу контору ты сам знаешь? В шахту меня чего-то не тянет. Так что... — Сергей внимательно, с прищуром, посмотрел на Анатолия. — Ты хоть знаешь, сколько я на этом деле заколачиваю? До четырех сотен. И все — в свободное от работы время.

Анатолий помолчал:

— Почему же ты юбки продаешь?

— Ну, по сто пятьдесят.

— А сколько на материю уходит?

— Вот ты к чему... Да я за вечер заколачиваю столько, что некоторым и за неделю не заработать, но не за просто так мне эти денежки достаются. Со службы прихожу и вперед. До упора и без выходов. Я за этот год в кино ни разу не был, плавание забросил, зрение себе подпортил. А всякое другое? Думаешь, приятно этим тряпьем на толчке трясти?

— Не тряси.

— Давай не будем дурачков из себя строить? — глаза у Сергея сузились, — а то аж перед пацаном неудобно. Так, Артем?

— Можно маленько потише? — попросил мальчик и подвинулся ближе к телевизору. — Совсем ничего не слышно.

— Ладно, Серега, закончим этот разговор. Живи как хочешь, — сказал Анатолий.

— Ишь ты — разрешил... — усмехнулся Сергей, — не знаю, как благодарить.

Молча доиграли партию. Сергей выиграл, улыбнулся, хлопнул Анатолия по плечу:

— Все нормально, братан. Пожрать — есть что, одеть-обуть — тоже. И все остальное не заржавеет. И повая хата, и видео, и колеса — все по первому классу. Так что можешь перенимать опыт!

Пришла Надя, принесла бутылек со спиртом.

Сели за стол.

Курица удалась. Надя следила, чтобы Артем не съел больше того, что она ему положила. Мальчик быстро подчистил свою тарелку и тоскливо смотрел на стол. Когда мать отвернулась, он не выдержал, потянулся за курицей. Но промедлил и схлопотал от матери по пальцам.

— Сурово тут с тобой, — посочувствовал мальчику Анатолий.

— Ничего, потерпит, — сказала Надя, — а то живот уже шире папиного.

— Какого папу ты имеешь в виду? — ухмыльнулся Сергей.

Надя отправила Артема на кухню, и когда тот ушел, повернулась к мужу:

— Очень остроумно...

В дверь позвонили. Пришла девушка. Сергей, суетясь, достал из шкафа что-то, завернутое в газету, и подал ей. Девушка вместе с Надей убежали на кухню. Они выгнали оттуда Артема, и тот вернулся в комнату. Встал у краешка стола, подобрал какую-то крошку.

— Что это за подруга? — спросил Анатолий.

— Надина знакомая, — нехотя пояснил Сергей, — я ей штаны шил.

Он плеснул себе и Анатолию по глот-

ку спирта, молча выпил. Из кухни вернулись Надя и девушка. На девушке были тонкие голубые штаны с карманами на бедрах и у коленок.

— Все путем, Сережа! Так и домой пойду.

— Фирма гарантирует, — слабо улыбнулся Сергей, — давай с нами.

Девушка расплатилась. Сергей сунул деньги в пустую вазу для цветов и показал рукой на Анатолия:

— Знакомься: мой брат...

Девушку звали Наташей. У нее были светло-зеленые, с легкой раскосинкой глаза, скуластое лицо, большой рот. Анатолию она понравилась.

С приходом Наташи стало веселее. Они отправили Артема опять на кухню, поменьку выпили. Сергей прошелся насчет Анатолия — только, мол, спустился с гор, питался там исключительно ягодой и оттого такой худой. Наташа мигнула, рассмеялась. Он поглядывал на нее сбоку, приглядывался. За зиму он соскучился по женщине.

Сергей продолжал трепаться.

— Я тут прямо как пуп земли, — сказал Анатолий, — про себя давай.

— У меня жизнь сидячая, про меня неинтересно, — отрывисто засмеялся Сергей, — как насчет того, чтобы еще по маленькой?

Он хмелел, в глазах его копилась тоска.

— Давайте попляшем, что ли? — предложила Надя.

Анатолий пригласил девушку. Танцевала она проворно. Мягко лынула к нему, отбегала и опять возвращалась. Сорокин пробовал приноровиться, но у него это получалось не очень складно.

— Что, братан, одичал в горах? — крикнул Сергей. — Тяжко, поди, без баб?

Надя стукнула его ладонкой по губам и улыбнулась Анатолию:

— Представляешь, с кем приходится жить?

Потанцевали. Анатолий вышел на кухню покурить. У столика стоял мальчик,

жевал торопливо остатки курицы. Увидел Сорокина, втянул голову в плечи:

— Пожалуйста, не говорите маме...

Анатолий и Наташа уходили вместе. Сергей, провожая их, задержал в своей руке руку Анатолия.

— Слышь, братан, а, может, на пару куда-нибудь махнем? На Алтай, например, мумие добывать? Жена, отпустишь?

— Отпущу, — сказала Надя, — догони да еще отпущу.

— А ты не бойсь. На этом мумие, знаешь, какую денгу можно заработать? Справим тебе шубку из соболей!

— Пошел собирать, — поморщилась Надя, — уймись.

— А что? Утром опохмелимся и в путь, — Сергей вздернул голову и заорал, — пока я ходить умею..!

На улице Наташа взяла Анатолия под руку и как прилепилась: постукивала рядом мелким шажком, рассказывала про какое-то кино. Как Сорокин понял, работала она в кинотеатре, а вот кем — не уловил.

Подшли к ее дому. Наташа огляделась и ткнула пальцем в темное окошко:

— Так и знала. Она же думает, что у меня ключи, и теперь будет шляться до полночи. А, может, и вообще почевать не придет.

— Кто не придет? — не понял Сорокин.

— Да Лариска, сестра моя. Я у нее живу. А сегодня ключи забыла взять, вот дура-то. Они у меня в другой курточке...

— А родители где?

— Они в деревне живут.

— А сестра у тебя что — не замужем?

— Была когда-то. Была да сплыла.

Сорокин подумал:

— А пошли ко мне. Я тут недалеко — пару остановок на автобусе.

Наташа ковырнула носком сапожка комок вытаявших прошлогодних листьев, подняла лицо:

— А ты меня не съешь?

— Съем, — улыбнулся он, — видишь, какой я худой?

— Тогда пойдем, — она сунула ему руку в карман плаща, — можно у вас погреться?

* * *

— Ух ты! — воскликнула Наташа, когда они пришли к нему. — Сколько у тебя камней!

Сорокин взял с полки агат — грязновато-серый, он таил на срезе чистоту уходящих вглубь косых линий. Его хорошо было смотреть при ровном свете, у окна, в холодную погоду.

Но Наташа уже потеряла к камням интерес.

— А это ты где достал? — она потянулась за корягой, похожей на голую девушку.

— В лесу.

— Как здорово! А маг у тебя работает?

Сорокин включил. Наташа послушала с минуту, повела плечиком: — Старые записи. Если хочешь, я тебе принесу свои. Я «Модерн токинг» недавно раздобыла — вообще закачаешься!

Она повертела головой:

— Кто-то обещал меня съесть?

Сорокин шагнул к Наташе, взял в ладони ее лицо.

— И умоюсь, ладно? — сказала Наташа. — Дай мне какую-нибудь твою рубашку.

Когда она вернулась из ванной, Сорокин обалдело мигнул. Он попробовал сделать вид, что видит такое каждый день, но глаза его не слушались. А Наташа обмахивала язычком губы и тягуче улыбалась.

* * *

Сорокин проснулся рано: еще не было и восьми. Тело было легким, как сухая щепка, гулко покалывало в позвонках. Он посмотрел на Наташу, на ее скуластое чистое лицо с запухшим ртом, усмехнулся. Наташа была много моложе его, но оказалось, что это ничего не значит. И вообще... все получилось так быстро.

На станции у него была одна история. Когда Сорокин туда устроился, на него стала поглядывать жена радиста Ольга. Она почти не тайлась. Однажды они остались в домике вдвоем. Ольга поймала его у порога, прижала к косяку. Он растерялся. Ольга тянулась обнять его, тонкие пощипывали ее щеки. Сорокин чувствовал ток ее тела и смутенно думал: вдруг зайдет муж Ольги? А тот будто за дверью стоял — как раз в эту минуту и зашел. Собственно, ничего у Сорокина с его женой не было, просто стояли рядом, и он ее совсем не трогал, но все равно было как-то не по себе. Сорокин выскочил из домика, стал ждать радиста. Тот скоро вышел, присел рядом. Сорокин вздохнул, собираясь объясниться, радист его остановил: «Не надо...» Соскребывая щепкой грязь с сапог, нехотя рассказал свою историю. Они на станции пятый год. Ольга дуреет от тоски. И как прибывает повенный, начинает на него пялиться. Сорокин спросил радиста, зачем же он тогда живет с ней? Тот устало вздохнул: другая сбежит отсюда через пару недель...

Жену радиста можно было понять.

А Наташу? Она досталась Сорокину легко, как глоток воды из крана. Веселая девочка, такие Сорокину еще не встречались.

Он наклонился над Наташей, наматал на палец прядь ее волос.

— Костя, не надо! — сонно вскрикнула Наташа.

Сорокин отпустил волосы, лег на спину. Подумал: «Ничего, это бывает. Не первый же я у нее...»

Он встал, прошел на кухню. Выпил холодного чаю. Еще раз пробежал материно письмо. Сорокин знал, что матери не нравилась его жизнь — ни семьи, ни постоянной работы, и она боялась, как бы он не сбил на худую дорогу. Сорокин старался лишний раз не расстраивать мать, но и «направиться», как хотела, не мог. К своим тридцати он успел поработать на заводе и в газете, препод-

давал в автошколе, ходил летом с геологами. Работать любил, но привыкнуть к тем безобразиям, которые открывались в каждом деле, не мог. И когда все подступало к тому, что надо было смириться и вместе со всеми подворовывать, обманывать или бороться против всего этого, Сорокин не делал ни того, ни другого — он уходил и подыскивал себе новую работу.

То же было и с женщинами. Он их не сторонился, но и терпеть подолгу не научился. Так что и с Наташей, скорее всего, им быть вместе недолго. Хотя лучше не загадывать наперед. Ему неплохо с ней, значит так и должно быть. А дальше видно будет. Он не любил про это думать.

Сорокин вернулся в комнату, включил телевизор. Шла программа «Время», показывали международные новости. Только он настроился послушать, проснулась Наташа, позвала к себе. Одежда она сбילה под ноги и, смеясь, закрывала рот ладошкой.

— В Иране-Ираке опять бои, — сказал Сорокин.

— А ну их в баню! — Наташа соскочила с кровати, выдернула из розетки штепсель. — Я в них все равно ничего не понимаю.

Она уселась ему на колени, оплела шею теплыми руками.

* * *

Потом они сходили в магазин, купили хлеба и молока. Наташа позвонила сестре, наврала ей что-то насчет прошедшей ночи. Сказала, что у нее сегодня выходной, что она идет к подруге на день рождения и там останется ночевать.

— Ну и как — поверила тебе сестра? — спросил Сорокин.

— Нет, конечно, — засмеялась Наташа, — что она, дура?

— А зачем тогда сочиняла? Так бы и сказал, как есть.

Наташа ненадолго задумалась:

— А не знаю. Что я, одна, что ли, вру?

По дороге домой они погуляли. Было солнечно, хоть и прохладно еще. Уже продавали мороженое: Рядом с тележкой на пустом деревянном ящике сидела старуха в плюшевом жакете. Ноги она держала на крышке канализационного колодца. Крышка была сухой, из-под нее клубился легкий пар.

— Чего это она? — спросила Наташа.

— Ей так тепло.

— Не хочу быть старухой. Фу!

— А что? Из тебя получится очень даже неплохая старушенция...

— Нет, нет, нет! Даже думать не хочу. Пошли отсюда!

Они вернулись домой, перекусили. За столом Наташа много болтала, рассказывала, как в одном американском фильме показывали такую кухню, что можно лопнуть от зависти. И вообще там живут, что надо, не то что у нас. У каждого свой дом с бассейном и всякое такое.

— Не слабо бы так пожить, а? — спросила Наташа.

— Езжай в Америку, поживи.

— Кто меня туда пустит?

— А если бы пустили — поехала?

— Если не насовсем, то поехала бы. А что? Провырнулась бы по ихнему Бродвею: привет из Сибири, чао, бамбино!

— А насовсем не хочешь?

— Ты что, на политику намекаешь? Так я в этом тум-тум. Я же совсем про другое, про то, что у нас в магазине купить печего. Вон у Ритки родичи в Африке работают, шмутки ей шлют, так сравнишь их с нашими?

— Ритка — это подруга твоя?

— Не то чтобы подруга, а так... Собираемся у нее.

— И чем занимаетесь?

— Записи слушаем, и... вообще, — Наташа запнулась, потянулась к стакану с молоком.

— Так почему все-таки не хочешь в Америку насовсем? — не отставал Сорокин.

— Не знаю. Не хочу и все, — она допила молоко, повертела на свет стакан, — во, и мыть не надо — одна вода. Надо будет в деревню наведаться, домашнего попить.

— А чего ты, кстати, отсюда уехала?

— А что там делать? Коров доить? У меня мамка всю жизнь на ферме. Пашет с утра до ночи, да еще без выходных. А мне пожить охота, побалдеть, пока молодая.

— Побалдеешь, а дальше что?

— Ты прямо как милиционер, — засмеялась Наташа, — может, тебе еще личный комплексный план показать? Что дальше, что дальше... Откуда я знаю? Что скажет начальство, то и будем делать. Мы всегда за. Вот у нас недавно собрание было. Директриса только рот открывает, а все уже руки вверх. А чего напрягаться — все равно по-ихнему будет. Так что... — Наташа наморщила лоб, свела брови... — да ну тебя! Давай сменю пластинку!

Весь день они пробыли дома. Наташа бродила по квартире в его рубашке. Сорокина дразнили ее высоко открытые ноги, гладкие розовые колени. Он ловил Наташу, а она вырывалась, показывала ему язык. Как-то он неловко навалился ей на руку. Наташа вскрикнула:

— Костя!

И грязно выругалась.

— Заявочки, однако, — присвистнул Сорокин. — Еще раз услышу такое — схлопочешь по губам. Терпеть не могу, когда бабы матерятся.

Наташа отвела глаза:

— А насчет Кости, — это у меня был один... Так что извиняюсь.

Сорокин кивнул: ладно, чего уж...

Наташа почувствовала его настроение, примирела. Села рядышком, привалилась к его плечу.

Вечером она позвала его в кино, на «Танцора диско». Сорокин терпеть не мог индийских фильмов, но Наташа даже слушать не хотела:

— Ты что? Это такое кино клевое! Я его уже два раза смотрела!

Он нехотя согласился.

На площади перед кинотеатром они попали в живой коридор — их хватало за рукава, выпрашивали лишний билетик.

— Накрылся твой танцор, — обрадовался Сорокин.

— Как бы не так, — сказала Наташа, — я бы еще в свой кинотеатр по билетам ходила!

Она протиснулась к входной двери.

— Привет, тетя Зоя! — кивнула Наташа контролеру и показала на Сорокина: — Это со мной.

В фойе Наташа встретила своих знакомых. Они кучкой стояли у колонны и похихивали.

— О, Натаха! — крикнула девушка в дутой оранжевой куртке, — канай к нам!

Наташа двинулась к ним, но приостановилась и обернулась к Сорокину.

— Подожди меня, ладно?

Наташу впихнули в круг. Она повертелась там и опять появилась на виду. Кто-то звонко шлепнул ее по заднице. Наташа взвизгнула и засмеялась. За ней засмеялись остальные. Они хихикали и раскачивались, как заведенные.

Дали звонок. Наташа, возбужденная и разгоревшаяся, вернулась к Сорокину, взяла его под руку.

— Они что, больные? — повел он головой на ее знакомых.

— Да нет... просто травки накурились, — скороговоркой обронила Наташа и наклонила голову.

— Лихо, — усмехнулся Сорокин, — ты не пробовала с ними за компанию?

— Ладно тебе: все бы допрашивал.

Они прощли в зал. Наташа провела его на свободные места.

— А если кто с билетами придет? — спросил Сорокин.

— Сюда не придут. Ты как будто первый раз на свете живешь.

Погас свет. Стали смотреть кино. Вот бедного мальчика — главного героя фильма, и его мать повели по улицам города.

Они были ни в чем не повинны, а толпа кричала им: «Сын — вор! Мать — воровка!»

Сорокин покосился на Наташу.

Она плакала.

— Э-э, — он тронул ее за рукав, — ты чего?

— Они же не брали гитару, — ширкнула носом Наташа, — а эти козлы...

Сзади зашикали, и она примолкла...

А мальчик вырос, стал знаменитым. Он танцевал и пел, и тысячи людей сходили от счастья с ума, видя его. Но у танцора нашелся соперник, который для исполнения своих злодейских замыслов написал наемного убийцу. И вот тот уже прицелился в танцора из винтовки.

Наташа схватила Сорокина за руку, впились в кожу ее острые ноготки.

Убийца нажал на курок. Но когда уже блеснуло пламя на конце дула, бросился наперерез пуле старый учитель танцора...

Только бандиты не успокоились, вновь напали на танцора. Но тут он показал им кузькину мать! Одному врезал так, что тот улетел в кузов грузовика.

Наташа потеряла ладошками:

— Классно он их отделал!

А танцор полюбил сестру главаря шайки. Бандиты взъярились еще пуще и придумали страшный план — пустить электрический ток по струнам гитары танцора. Об этом узнала мать танцора. И вот она села в автомобиль. Сын ее в это время готовился к выступлению. Во весь экран — глаза матери. И тут же — руки сына.

Наташа сидела как изваяние. Сорокин видел сбоку ее полуоткрытый рот, чувствовал на своей руке ее жесткие пальцы.

Мать успела раньше. Сын остался жив, но ее самое пронзил электрический разряд. Но и это еще было не все. Танцор стал бояться гитары. А толпа требовала — играй! А он не мог, и близко была минута позора. Но в роковой момент явилась подружка танцора, и все закончилось замечательно.

На улице Сорокин с удовольствием

глотнул свежего прохладного воздуха, потянул уставшую спину. Наташа тихо плелась рядом, потом прерывисто вздохнула:

— Потрясная штука!

— Аж до сих пор трясет, — хмыкнул Сорокин.

— Тебе что, не понравилось?

— Я в диком восторге. Просто млею от счастья. Такой фильм! Я его никогда не забуду, он мне будет сниться по ночам.

— Сильно умный, что ли? — дернулась Наташа, — идешь тут заливаешь.

— Ну что ты! Я просто не знаю, как мне выразить...

— Не считай меня совсем уж за дуручку, — Наташа сунула руки в карманы курточки, свела вперед плечи, — если хочешь от меня отделаться, то так и скажи.

Сорокин подумал и обнял ее:

— Не сердись. Это я так, шучу.

Она повозилась под его рукой и притихла.

В квартире у Сорокина они окончательно помирились. Наташа приготовила поужинать, постирала ему рубашку и вернулась из ванны совсем веселой. Сорокин даже забыл про поход в кинотеатр — так все было хорошо. Вообще, заметил Сорокин за эти два дня знакомства, Наташа, перед тем, как лечь в постель, вся преображалась. Она возвращалась из ванной не только чистая от помады, туши и других красок, она менялась и как бы изнутри: становилась медлительней походка, как-то по-особенному поблескивали глаза.

Ночью они разговорились. Наташа спросила — сколько ему лет? Сорокин ответил — тридцать.

— А чего ты не женишься?

Он пожал плечами:

— Некогда...

— Какой прямо занятый, — не отставала Наташа, — некогда ему... Нет, правда — такой из себя неслабый парень, а не женишься.

— А что во мне неслабого, как ты говоришь? — заинтересовался Сорокин, — по-моему, тебе совсем другие должны нравиться.

— Какие другие?

— Помоложе, попижонистей. Из тех, с кем вы там собираетесь у твоей Риты.

— Но это же только побалдеть. Я же замуж за таких не собираюсь.

— А за каких собираешься?

— Ну... — Наташа медленно вздохнула — я бы хотела за такого, чтоб постарше был, чтоб не придурок, не дерганый какой-нибудь, чтобы самостоятельный был. Как Баталов в «Москва слезам не верит».

— Баталов уже забит. Так что...

— Тогда я бы вышла за такого, как ты, — Наташа поцеловала его в уголок губ и тихо засмеялась.

— Пожалеешь. Я бродяга. Шляюсь с места на место.

— Женишься и не будешь шляться.

— Так сначала жениться надо. А у меня с этим делом туго.

Наташа помолчала:

— А тебе какая жена нужна?

— Мне? — Сорокин вспомнил жен своих друзей и знакомых: — Чтoб не визгливая была, чтоб не суетилась без дела и жить не мешала. В общем на меня трудно угодить. Так что ничего не предлагаешь.

— А такая, как я, тебе не подходит? — Наташа включила ночник, встала перед Сорокиным на колени, манерно изогнула руку.

— Хороша! — похвалил ее Сорокин. — Только тебе еще рано замуж. Погуляй пока на воле.

Наташа опустила руку, зашлась коротким смешком:

— Значит, не гожусь?

— Я не сказал. Маленькая еще. Вот подрастешь, тогда — пожалуйста.

— Для постельки не маленькая, а для жены маленькая?

— Ну... я совсем не то имел в виду, —

замешкался Сорокин, — я хотел сказать, что надо набраться ума...

— В смысле, я еще пока дурочка, да? — опять засмеялась Наташа.

— Ну почему дурочка?

— Тогда, значит, нормальная?

— Вполне.

— А как на внешность?

— Просто прелесть.

— А насчет всего другого?

— Нет слов.

— Тогда почему замуж не хочешь брать?

Сорокин не мог сообразить, как ей ответить.

— Ладно, не бойсь — я пошутила, — Наташа улыбнулась и погасила свет, — давай спать, а то мне на работу завтра.

Она легла лицом к нему, согнула в коленках ноги. Сорокин обнял ее. Она не шевелилась. Он подождал немного и убрал руку. Лежал и думал про то, что Наташа, конечно, зря на него заимела виды. Девочка она приятная, но жениться на ней — боже упаси.

Утром Наташа ушла на работу. Он проводил ее до двери, кашлянул:

— Слушай, насчет вечера... Мне тут кое-где надо побывать...

— Я тоже не смогу. Также надо сходить в одно место. Так что — привет! — изо всех сил улыбаясь, она помахала ему рукой и побежала вниз по лестнице.

«Ну вот, договорились, — подумал Сорокин, — и безо всяких там сцен...»

Он еще повалялся, но уснуть больше не смог. Позавтракал и пошел в город. Было прохладно. Мелкие лужицы на тротуаре схватились тонким ледком, и он нежно похрустывал под ногами.

Он побродил по проспекту. Рядом с горисполкомом открылась маленькая «Бутербродная», на мостике через грязную и вонючую речку Абу рабочие устанавливали во флаштокки разноцветные знамена. На площади перед театром сколачивали трибуну, и молотки стучали гулко и весело. Сорокин постоял, посмотрел и свернул в горсад. Там было тихо и не-

привычно глазу пустынно. Он даже не сразу сообразил, отчего это так. И только когда обогнув танцплощадку, вышел к кинотеатру, всё стало ясно: кинотеатра в саду не было. На его месте было пепелище. Мимо проходил старик, и Сорокин остановил его:

— Когда это все тут случилось?

Старик ответил не сразу. Посмотрел туда, где темными мокрыми комьями лежала зола, и сказал:

— В прошлом году, сразу после ноябрьских. Пришел утром, а тут уже всё, одни головешки.

— Подожгли или сам загорелся?

— А кому охота разбираться? Старье сгорело...

— Ничего, отец, новый построят.

— Может, и построят, — старик помолчал, — а я в этом сарае каждую царапину на стене помню. Молодой был — бегал туда, после войны — тоже туда...

Он наклонил голову и пошел дальше — невысокий, в поношенном пальто и зеленой вязаной фуражке.

«Все правильно, — подумал Сорокин, — он сюда всю жизнь тропу топтал, для него этот сарай что дом родной, а я — птица перелетная...»

Он подумал об этом с усмешкой, но на душе было грустно. Сорокин вышел из сада — прямо к кинотеатру «Коммунар». Его трудно было узнать: после ремонта холодно отсвечивали отделанные мрамором стены, встали в окна разноцветные витражи. Сорокин посмотрел на афишу — «Блондинка за углом». Ниже названия была нарисована шикарная девица на фоне какого-то заграничного автомобиля, из угла афиши испуганно смотрел мужик, похожий на Андрея Миронова. Сорокин вспомнил Наташу: ей бы это парняжка понравилось.

Сорокин перешел дорогу, заглянул на главпочтамт. Встал в очередь к окошечку «до востребования». Писем он ни от кого не ждал, просто стало вдруг интересно: а вдруг да есть что-нибудь?

Перед самым окошечком он вышел из

очереди, выбежал из здания, сунул руки в карманы и быстро пошел вдоль проспекта.

Домой ему не хотелось, и Сорокин пошел в редакцию, где работал раньше.

Встретили его шумно, расспросили про жилье на станции. Рассказали про свои новости. Ушел на пенсию заведующий отделом пропаганды Гаврилин, машинистка Люда родила пацаненка, получил квартиру художник Андреев...

Была еще одна новость — ее приберегли напоследок: уволили за пьянку Володю Макарова, а потом его хватил инфаркт, и сейчас он в больнице.

— Как инфаркт? — растерялся Сорокин, — и почему уволили? Он же выпивал не больше, чем все?

Вокруг замешкались, заглядывались друг на друга.

— Пошли ко мне. — Элегантный Аркаша Фишер подхватил Сорокина под руку и увел к себе; там уселся в старое глубокое кресло, ослабил узел галстука, — ты что, Вову-корзину не знаешь?

Сорокин понял, что Аркаша имел в виду. Марков был из тех, кому больше всех надо. Он лез туда, куда его не просили. Володя работал как пчелка, но очень часто он работал на корзину, потому что редактор знал, с кем можно воевать, а Володя не знал. Хотя он был уже далеко не мальчиком: в то время, когда Сорокин работал в редакции, Маркову было тридцать шесть.

— Ну, а сейчас, как ты понимаешь, времена новые, — небрежно усмехнулся Аркаша, — редактор чуть ли не на каждой летучке речь держит: про гласность, про перестройку и так далее. А Володя тут занялся одним делом — интересным, надо сказать, делом. Милиция накрыла на одной хате наркоманов — человек шесть, кажется. Были среди них и две девочки — очень, если верить Володе, любопытные девочки. Привезли этих наркоманов в отделение, один из оперов позвонил Маркову. Володя ноги в руки и вперед. Проторчал там весь день. В об-

щем, выяснилась такая штучка: травку им продавал один старый студентик с нашего юрфака. Как это тебе?

Аркаша неторопливо выудил из пачки сигаретку, чиркнув зажигалкой, полюбовался на огонек. Аркаша всегда любил понижонить.

— Ну, понятно, этот студентик не сам выращивал. Травку ему возили проводники, которые ходили в Среднюю Азию. Были у студентика связи и с торгашами с рынка. стакан травки шел по полтиннику. Небольшой мешочек тянул тысячу. Недурственно? — Аркаша потянул носом воздух: — В общем, Володя за это все уцепился, но на этот раз его уже на полдороге остановили. Дня через три после этой облавы на наркоманов вызвал Володю редактор и говорит, что дело это надо прекратить.

— Кто у студентика папаша?

— Фамилия его Парухин, зовут Павел Андреевич. Это я про папашу.

Сорокин пожал плечами.

— Первый раз слышу.

— Ну, Толя, отцов надо знать в лицо, — Аркаша лениво развел руками, вздохнул, — Павел Андреевич директор горпищеторга.

— Тогда все ясно.

— Это нам все ясно. А Володя — он же... ну ты понимаешь. Опять же, перестройка и всякое такое. В общем на этот раз Володя уперся. Павел Андреевич тоже зря времени не терял: протоколы допросов потерялись, наркоманчиков выпустили по домам. Опер, который Володе звонил, тоже на попятную пошел. А в это время как раз наш городской прокурор приехал из Москвы. Как сейчас принято, встретился с народом. Рассказал о последних веяниях, сказал, что надо крепить законность и что перед законом все равны. Тут встал Володя и выложил всю эту историю. Это, конечно, было зрелище. Я сам не видел, но можно представить. В зале — под тысячу человек, и фамилия у Павла Андреевича, в отличие от тебя, всем известная. Что прокурору

оставалось? Он дал слово разобраться. Но самое главное началось потом. Редактора на другой день вызвали к высокому начальству, он вернулся оттуда имея бледный вид. Соответственно, вызвал Володю. Я не знаю, что он там ему орал, но доносилось аж досюда. Володя после этого разговора пошел в кабак, принял там сто пятьдесят и, хватило ума, вернулся в контору. Решил еще раз с редактором потолковать. И заработал выговор. А на завтра вообще не вышел на работу. Редактор посадил на машину своего зама с председателем профкома и велел ехать к нему домой. Те приехали, а Володя потихоньку киряет. Потом, на этой же неделе еще один такой случай. Ну, и полетел Володя. А дня через три после того, как ушел, его и прихватило.

— И как он сейчас?

— Да живой, но... — Аркаша побарабанил пальцами по столу. — У меня там врач знакомый, судя по всему, сядет Вова на инвалидность.

— А что со студентиком?

— Дело, вроде, возбудили, но чем все это кончится?

Володя, конечно, им малину слегка подпортил, но Павла Андреевича сломить не просто — у него немало людей кормится. И за сыночка он постоит.

Аркаша аккуратно загасил сигарету, потянулся:

— Вот такие у нас новости. А ты куда навестрился? К нам не хочешь вернуться? Володина ставка пока свободная.

— Надо подумать. Хотя — вряд ли.

— Смотри. Сейчас стало поинтереснее работать.

— Особенно если по этой истории судить.

— Ну, старичок, Марков — это особый случай. Он решил паровоз обогнать, а это дело дохлое.

Сорокин еще побыл немного у Аркаши и пошел к Маркову в больницу. Ему написали пропуск, но предупредили — по-старайтесь недолго.

Марков спал. Он лежал на кровати в одних трусах, руки были вытянуты вдоль тела. Сорокин присел рядом на табуретку:

— Привет!

Марков открыл глаза, мигнул:

— Ого! Каким ветром?

— Да вот — решил поглядеть на того, кто в первых рядах...

— Кончай! — нервно поморщился Марков, помолчал и добавил. — В первых рядах начальство, а мы уж так, рядышком, бочком...

Он пошевелился, потянул на себя простыню. Лицо его было серым, кожа казалась отсыревшей. «Крепко тебя, однако...» — подумал Сорокин.

— Не обращай внимания, — сказал Марков, — не я первый, не я последний. Ты со станции насовсем?

Сорокин кивнул.

— Так надо обмыть это дело. Как ты на это смотришь?

— Нормально смотрю, только ты про это забудь. Переходи на квас и молоко.

— Аминь, — осторожно засмеялся Марков, — приступаем к выносу тела.

— Кстати, насчет тела и души — как себя чувствуешь?

— Как в раю, — Марков усмехнулся, — а вообще, когда приволокли сюда, то не по себе стало... Все, думаю, отпрыгался... А потом ничего, оклемался. Так что, поживем — увидим.

— Володя, я что хочу сказать? Надо придержать коней. Это я не к тому, что плетью обуха не перешибешь, я этих сволочей не меньше тебя терпеть не могу... просто надо рассчитывать силы... надо корни рвать, а на это, сам понимаешь, у нас с тобой мошей не хватает... я без дураков тебе говорю — ты молоток, но надо придержать коней, здоровье — оно на дороге не валяется.

Сорокин говорил сбивчиво, ждал, что Марков возразит ему, а спорить с ним не хотелось.

Но Марков не возразил. Слушал Сорокина молча, только глаза внезапно

отяжелели да проступил на лбу мелкими капельками пот.

— Тебе бы сейчас куда-нибудь на пасеку, — сказал Сорокин, — самое милое дело, чтобы успокоиться.

Марков достал из-под подушки носовой платок, приложил его ко лбу:

— Можно и на пасеку... Можно еще куда-нибудь...

— И вообще — с тебя и того хватит, что ты сделал.

— Я ничего не сделал, — не глядя на Сорокина, нехотя сказал Марков.

— Ну, не скромничай. В наше время быть порядочным — это уже немало.

— Может, ты мне еще медаль выдашь — «За уступание места старухам в общественном транспорте?» А что? Есть свидетели — уступал!

Разговор скомкался. Марков взял с тумбочки стакан с водой, отпил глоток. Помолчал, думая о чем-то. Поднял глаза:

— Ты куда надумал устраиваться?

— Бог его знает. Я тут третий день — еще не огляделся.

— Не хочешь на мое место?

Сорокин хотел сказать, что ему уже предлагали сегодня это место, но в последний миг передумал:

— Тебя из меня не получится. И потом — тебя еще, возможно, восстановят.

— Ты же предлагал мне остепениться?

Сорокин приподнял руки:

— Один-ноль в твою пользу.

— Вот так. А насчет места подумай. Мне все равно пока придется передохнуть, — Марков медленно, нехорошо улыбулся, — а тебя шеф возьмет.

— А зачем тебе, чтобы я в контору вернулся?

— А тебе самому не понятно?

Сорокин не ответил. Потеря щекой о плечо, вздохнул.

— Ладно, — сказал Марков, — хватит про дела. Какие новости на воле?

Разговор пошел легче, Марков ожил, посмеивался, покручивал сложенными на животе пальцами. Но когда Сорокин что-

то помянул про женщин, Володя вздрогнул: будто его вдруг кольнуло.

— Чего это с тобой? — спросил Сорокин.

— Да так, не обращай внимания. Все нормально. Все нормально, старичок!

Из больницы Сорокин пошел к брату в институт. На душе было беспокойно. Он вспоминал посеревшее лицо Володи, их путанный, тягостный разговор. Было такое ощущение, что Марков не особенно обрадовался его приходу. Нервный он какой-то стал.

Брата он нашел в курилке. Сергей и еще какой-то очкарик играли на подоконнике в шахматы.

— Атас, мужики! — крикнул Сорокин. Мужики оглянулись. Кто-то загасил сигарету. Сергей засмеялся:

— Шутка. Это мой братан. Когда-то, между прочим, работал тут.

— А чего ушел? — пряча маленькие дорожные шахматы в канцелярскую папку, спросил очкарик.

— Геморроя испугался, — хмыкнул Сорокин.

— Какая разница, где его зарабатывать, — буркнул очкарик и вышел из курилки.

— Ну, — улыбнулся Сергей, — как Наташа?

— Нормально.

— Ничего девочка. Особенно глазенки. Скрасила она твое одиночество?

— А как же.

— Но должен тебя, братан, предупредить — за ней никаких перспектив.

— Что ты имеешь в виду под перспективой?

— У Наташи, насколько мне известно, ни хаты, ни образования. А ты знаешь ее компанию? Мне жена кое-что рассказывала — она эту Наташку через ее сестру знает.

— Ты меня так страшашь, будто я на ней жениться собрался.

— Она собралась. Не то что на тебе, а вообще. А ты кадр подходящая. И жи-

лье с матерью можно разменять. Так что, не попадись на крючок.

— Спасибо, Серега. Что бы со мной было, если бы не ты. Ты просто меня спас. Пошли, кстати, перекусим. Спаси меня еще раз, а то помру с голодухи.

Они спустились в столовую, но им не повезло: очередь начиналась еще перед порогом.

— Минут на двадцать с копейками, — прикинул Сергей, — может, пока переждем у меня?

— Да нет, пойду. У меня тут еще дела, — соврал Анатолий, — надо в одно место забежать насчет работы.

— Куда надумал?

Анатолий еще никуда не надумал и брякнул про работу, потому что ему вдруг расхотелось маяться с братом еще полчаса в курилке, но ничего другого, как сослаться на работу, на ум не пришло, и теперь надо было врать дальше.

— В редакцию хочу вернуться.

— Серьезно? — прищурился Сергей, — что-то не верится.

— Почему?

— Ну как... Во-первых, ты там уже был, а во-вторых... — Сергей замялся, — ты знаешь, что с Марковым?

— Знаю. Я только от него.

— Ты не все знаешь... Пойдем на крыльцо, покурим.

Они вышли, привалились к ограждающим крыльцо металлическим перильцам. Сергей долго выглаживал сигарету, перебирал в коробке спички. Анатолий почувствовал — брат собирается рассказать ему что-то нехорошее.

— Слушай, не тяни резину.

— Ладно... — Сергей закурил, — Вашего Маркова купили.

— Не понял, — оторопел Анатолий, — то есть как это?..

— А вот так. У него жена в обувном работает. Пришли народные контролеры и нашли «под прилавком» дефицит.

— Ну, это дело не такое уж редкое.

— Естественно. Но контролеры напихали заметку и отнесли ее твоему быв-

шему редактору: просим, мол, опубликовать. И случилось это все через пару дней после того, как Марков устроил спектакль на встрече с товарищем прокурором.

— Все остальное нетрудно представить, — Анатолий прикусил губу, — редактор намекнул, жена надавила. Я бы этих баб...

— Жена у него самая обычная. К тому же, в этот раз ее попросили из торгома придержать десять пар кроссовок. Но попросили устно.

— А ты откуда все это знаешь?

— У меня жена, как ты, надеюсь, помнишь, тоже в торговле работает. Но я человек мирный, куда меня не просят, не суюсь, — усмехнулся Сергей, — и жену о проверках предупреждают за неделю.

— А почему ты мне еще позавчера про это не сказал?

— Надька просила не распространяться. Ей, в общем-то, тоже по секрету сообщили. А тут, смотрю, ты решил в борцы податься.

— У меня жены нет, так что меня ловить не на чем.

— Надо будет — поймают.

— Ладно, я подумаю, — Анатолий выбросил окурочек, подал брату руку. — Будь здоров. На днях забегу.

Он вернулся домой. Открыл еще одну банку тушенки из тех, что привез со станции, вскипятил чаю. Долго сидел за столом. Потом, не раздеваясь, забрался под одеяло. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть.

Сорокин проснулся — ему было душно. Отвернул одеяло. За окошком смеркалось. Он полежал, покурив. Потом встал, быстро надел плащ, фуражку и вышел из дому. Сел в троллейбус и поехал туда, где жила Наташа. Вспомнил окно, на которое она ему показывала, считал квартиру.

Открыла ему опрятная круглолицая старушка.

Увидев перед собой Сорокина, оторопела и отступила за порог:

— Вам кого?

— Мне Наташу.

— Нет тут никакой Наташи.

Он потоптался:

— Но, может, вы знаете — она еще с сестрой живет.

— Кассирша, что ли?

— Да, она в кинотеатре работает. Беленькая такая...

— Много вас тут шляется — и беленьких, и черненьких, — озлобилась вдруг старушка.

— Чего это вы? — сказал Сорокин.

— А того, что житья от вас никакого нету. Весь подъезд загадили!

— Я в этом доме первый раз, и вы меня видите тоже первый раз...

Старушка моргнула и пытливо посмотрела на Сорокина.

— А вы... по какой линии будете?

— По общественной, — усмехнулся тот.

— Так что же это мы на пороге, — она улыбку, распахнула дверь, — заходите.

— Да я, собственно, не к вам.

— Но прошу вас, на минуточку.

Сорокин пожал плечами, зашел.

— Анна Николаевна, — старушка подала ему маленькую крепкую руку, — а вас?

— Анатолий.

— Пройдемте на кухню: у меня там как раз чай вскипел.

Кухня походила на свою хозяйку: все там было чисто, аккуратно, просто. На одной стене висел портрет Сталина в алюминиевой рамке, на другой тикали часы с кукушкой. Анна Николаевна усадила Сорокина к столу, налила ему чаю. Сама устроилась ближе к окошку.

— Кухня — мое любимое место. Вот отсюда, — она поправила занавески, — я и наблюдаю.

— За кем? — не понял Сорокин.

— За ними, которые каждый вечер собираются здесь под окошком. Или в подъезде, когда холодно. Они просто не знают, куда себя деть от безделья. Курят, выпивают. И главное, девушки — как они

себя ведут? Вы бы слышали, как они матерятся? Я когда открываю окошко, так ушам больно! А как они дерутся? В том числе и девушки. Будущие жены, матери! И что самое ужасное — двое бьют друг друга, а остальные наблюдают. Я, конечно, сообщала участковому...

— А вы сами не говорили с ними?

— Я написала в газету. Пришла корреспондентка, собрала некоторых, меня позвали.

— Ну и как, поговорили?

Анна Николаевна сомкнула губы, помолчала.

— А что с ними наговоришь? Я им про наши идеалы, а они мне про магазины. Да и корреспондентка попала не лучше — поддакивать им взялась. Нет, наше поколение было другим. У нас, по крайней мере, была высокая идея.

— Вы раньше учителем работали? — спросил Сорокин.

— А как вы догадались?

— Не знаю. Показалось так.

Анна Николаевна помолчала и вздохнула:

— Да, я отдала школе тридцать пять лет своей жизни. Я пожертвовала ради нее всем, в том числе и своим личным счастьем. Но я не жалею. Наша школа была лучшей в районе, на нас равнялись.

Она подала назад плечи. Лицо ее просветлело и замерло.

— Последние пять лет я работала завучем. Однажды в отсутствие директора принимала замминистра — представляете, какой уровень? Но в горно мне доверяли. И я оправдала это доверие. Тогда, когда приезжал замминистра, мы буквально вылизали школу. Наш гость даже пошутил: знал бы, говорит, что у вас такая стерильность, прихватил бы с собой вторую обувь!

Анна Николаевна быстро замигала и склонила голову.

Сорокин поднялся:

— Спасибо за чай. Я, наверное, пойду. Вы мне не подскажите насчет девушки?

— В шестьдесят первой она живет, мы с вами так и не поговорили!

— Почему не поговорили? Как я понял, Наташа из шестьдесят первой тоже в той компании, которая собирается у вас под окошком?

— Вы правильно меня поняли, — она уже успокоилась и говорила сухо, ровно, — я надеюсь, вы по вашей линии делаете выводы...

— Да, обязательно, — сказал Сорокин.

У порога Анна Николаевна остановила его еще раз.

— И все-таки — откуда в них все это? Почему они так бездумно прожигают свои молодые жизни?

Приложив пальцы к вискам, она смотрела на него растеряннo и тоскливо.

— Может, я чего-то не понимаю? Но ведь я всю жизнь положила на это...

Сорокин ничего ей не ответил — кивнул на прощание и вышел.

Дверь в шестьдесят первой квартире ему открыла молодая женщина с тушью и кисточкой для ресниц в руках. Он спросил о Наташе.

— Нет ее.

— А где она?

Женщина внимательно посмотрела на Сорокина:

— Вы тот самый — Анатолий, кажется?

— Да, тот самый.

— Она, скорее всего, у Ритки, но... я бы не советовала туда ходить.

— Ничего, я не пугливый.

Рита жила в конце переулкa, на первом этаже отделанного голубой плиткой дома. Из-за двери нужной ему квартиры слышалась музыка. Сорокин глубоко вздохнул и позвонил. Дверной глазок зажегся и тут же погас — в него смотрели. Потом Сорокин услышал смех, возню и голос Наташи. Его впустили. Едва он переступил порог, Наташа кинулась ему на шею:

— Толечка пришел!

Из комнаты несло сладковато-приторным дымком.

Сорокин скосил глаза на хозяйку квар-

тиры. Он уже видел ее однажды — в фойе кинотеатра. Она была там в дутой оранжевой куртке. Сейчас девушка смотрела на Сорокина и блаженно щурилась:

— А я тоже хочу...

— Ну, пожалуйста, целуйся, если тебе так хочется, — разрешила Наташа и, взмахивая руками, будто крыльями, уплыла в комнату. Рита показала ей вслед язычок и, привставая на цыпочки, потянулась к Сорокину:

— Ты будешь наш дружок...

Он отстранил девушку и шагнул за Наташей.

Посреди комнаты на табуретке сидел худой черноволосый парень в распахнутой джинсовой курточке, надетой прямо на голое тело.

Наташа, махая руками, кружилась по комнате.

— А он не хочет со мной целоваться, — пожаловалась сзади Рита.

— Потому что он со мной хочет, правда, Толечка? — засмеялась Наташа.

— Ну, я поехал, — озабоченно сказал парень и поднял голову. Увидел Сорокина. — А это кто?

— Наш дружок, — сказала Рита.

— Не понял. — Парень уставился на Сорокина. — Не наблюдаю такого.

— А это будет пассажир, — весело сказала Рита и тронула Сорокина за плечо, — ваш билетик?

Сорокин усмехнулся, сунул руку в карман. Нашел там использованный абонемент. Рита взяла его за руку и провела к дивану:

— Это будет ваше место.

— А я тоже хочу в это купе, — подлетела к Рите Наташа.

— Покажите билетик, гражданочка.

— А можно зайцем?

— Гоните рваный, гражданочка.

— Пожалуйста, — Наташа, мурлыкая, порылась в сумочке и подала Рите рубль. Та проводила ее к Сорокину и усадила рядом.

— Ну, все, поехали, — сказал черно-

волосый и дал голосом гудок. Наташа обвила Сорокина за шею:

— А куда мы поедem с тобой, Толечка?

— Домой, — сказал Сорокин, — Строителей, сорок шесть, второй подъезд, третий этаж, налево.

— Костик, давай на Строителей, сорок шесть, — ласково приказала черноволосому Рита, — внимание, граждане пассажиры, поезд отправляется!

Черноволосый, будто поршнями, задвигал локтями:

— Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи...

Сорокин почувствовал, что Наташа тоже начинает ерзать, обнял ее и шепнул на ухо:

— Пошли ко мне.

— Но мы же еще не приехали, — нетерпеливо выдохнула Наташа.

Черноволосый набирал скорость. Потом вдруг сорвал с себя курточку, кинул ее на пол. Рита тоже стянула с себя блузку, не глядя, отбросила ее в сторону. Костик подавал гудок, Рита следовала за ним, тела их блестя от пота, и сами они уже начинали хрипеть, но продолжали работать локтями и чикать:

— Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи...

Наташа, возбужденно дыша, выворачивалась у Сорокина из рук и рвалась туда, где Рита и Костик в упоении закатывали глаза. «Надо что-то делать, — лихорадочно подумал Сорокин, — потом ее не остановишь».

— Станция Строителей, сорок шесть! — крикнул он. — Приехали!

Костик услышал, сбавил ход. Рита тоже приостановилась, облизнула губы и объявила:

— Стоянка поезда пять минут.

— Пошли скорей! — Сорокин схватил Наташу за руку, поднял с дивана.

— А куда пошли?

— Ко мне. Ты же помнишь, мы там с тобой и вчера и позавчера были.

— И ты будешь меня любить?

— Обязательно.

— Я так счастлива! Я всех люблю — и

тебя, и Ритулика, и Костика. А вы меня?

— Какой разговор, мать, — Костик качнулся с табурета, цапнул Наташу за колено, — давай сюда!

Сорокин перехватил его руку, отбросил с колени. Костик приподнялся с табуретки:

— А в чем дело? Я что-то не врублюсь...

— Все нормально, — Сорокин взял его за плечо и посадил обратно на табуретку, — езжай дальше. А нам пора. Пошли, Наташа!

Подталкивая, он вывел ее в коридор, помог одеться. В комнате разогревали паровоз, и Наташа порывалась туда вернуться.

— Пойдем в наше купе. Там так балдежно!

— А мы в другом месте побалдеем. Мы с тобой не только паровоз, мы с тобой подводную лодку изобразим.

— А ты катался на подводной лодке?

— Еще бы. Я же бывший подводник. Ну, пошли.

Он вывел ее на улицу, дошел с ней до первой свободной скамейки. Сел, откинулся на спинку. Устало прогнулся — до сладкого хруста в позвонках. Закурил. После первых затяжек неожиданно закружилась голова.

— Дай мне тоже покурить, — сказала Наташа.

— Девушкам курить вредно.

— Ну, Толечка, ну что ты такой жади-на, — заныла она.

Сорокин дал ей курнуть, и она сразу успокоилась, стала ластиться к нему. «Может, отвести ее домой? — подумал Сорокин, — да и дело с концом?»

— А тебя сестра не потеряет сегодня? — спросил он.

Наташа помотала головой:

— Не-а. У нее сегодня ночь любви, и она мне сказала, что я свободна, как птица.

— Все ясно, — Сорокин поднялся, — будем ловить такси.

В машине на Наташу опять нашел

«балдеж». Похохатывая, она стала уверять шофера, что на паровозе ездить лучше, чем на авто. Сорокин, как мог, перебывал ее смешки и ужимки — молот всякую ерунду, смеялся сам, но таксиста все же не обманул — когда рассчитывались, тот ухмыльнулся:

— Веселая девушка...

— Бывает, — отмахнулся Сорокин, а у самого на душе скребло: какого черта он вообще с ней связался?

Пришли к нему. Наташа, напевая, раздалась, накинута на себя его рубашку и закружилась по комнате:

— Ой, как хорошо!

Сорокин прошел к дивану, сел.

— Наташа...

Она тут же подбежала. Встала перед ним на колени. Подняла к нему лицо:

— Что, Толечка?

— Давай поговорим?

— Давай, — охотно согласилась она, — мне так нравится с тобой говорить — ты такой умный и все знаешь...

Наташа потерлась щекой об его ногу и засмеялась:

— Знаешь, когда я покумарю, мне прямо летать охота.

— И часто ты кумаришь? — спросил он.

— Когда как. Я сегодня только, — она пошевелила губами, — только пятый раз попробовала.

— А эти — Костик и Рита?

— Ритулек маленько побольше, а Костик еще больше. Знаешь, Толечка, мне так его жалко — он уже без этого не может и так мучается, просто ужас...

— А где вы это берете?

— Не знаю, это Костя где-то достает. А мы потом у него уже покупаем... Давай врубим маг?

Не дожидаясь его согласия, Наташа включила магнитофон и закружилась по комнате в каком-то невыносимом танце. Поворачиваясь к Сорокину, она чмокала губами и смешно подмигивала ему. Он сидел, смотрел, и голову его обволакивала какая-то одурь. Захотелось выпить —

хоть чуток. Он подумал: у матери должно быть припрятано на лекарство. Пошел на кухню, и точно — в шкафу за банками и коробочками отыскал початую бутылку. Набралось чуть больше полстакана. Он выпил, постоял у окна. Внизу мальчик играл с собакой. Пейна, задирая задние ноги, носилась вокруг двух фонарных столбиков и, пробегая мимо мальчика, кидалась ему на грудь. Мальчик трепал собаку по загривку, а когда она скакала перед ним, грозил ей пальцем.

«Она жила с этим Костином, — подумал Сорокин, — он ее и приучил к анаше, скотина».

Он вернулся в комнату. Наташа продолжала танцевать, только уже совсем медленно.

— Слушай, ты такого Парухина знаешь? — спросил он.

— Это который в торге?

— Сына его?

— Не-а. Кажется, Костик про него один раз говорил, но я точно не помню. Я выключу свет?

Она щелкнула выключателем и, неясно взмахивая руками, проплыла мимо Сорокина. Потом вернулась, положила ему на плечи легкие руки:

— Ты говорил, что будешь любить меня...

— Да, — сказал он, — конечно.

— Правда? — спросила Наташа, — ты бы только знал — как мне с тобой хорошо!

Сорокин привык к этому женскому лепету и не очень верил ему. «Давай сочиняй, — подумал он, — особенно после травки это у тебя здорово получается».

— Ты иди пока, — сказал Сорокин, — а я сейчас, умоюсь только...

Он ушел в ванную комнату. Пустил воду. Закурил. Страхивая на струю пепел, выкурил сигарету, достал еще одну. Устало перебирал прошедший день: редакция, Аркаша, Марков...

Вспомнил приторный запах конопли на квартире у Риты, полуголого Костики. Он что, с двумя живет? Или по оче-

реди? Скотина. А, может, им так нравится? Но Наташа все же ушла с ним, с Сорокиным. Она вообще, чувствуется, положила на него глаз. И к Ритке, скорее всего, пошла потому, что он ее не позвал утром к себе. Значит, он, выходит, виноват в том, что Наташа сегодня накурилась анаши. Интересно. Может, он еще виноват в том, что она ревет на глухих киношках, матюгается и дерется, как эта старушка намекнула? Нашлась тоже страж морали.

Ладно, сказал себе Сорокин, хватит. И так день тяжелый выпал. Как будто специально все подобралось. В тайге на этот счет попроще.

Сорокин закрыл кран и вернулся в комнату. Стараясь не шуметь, разделся, лег. Наташа со сладким стоном подалась к нему, обняла горячей рукой:

— А я ждала-ждала и уже чуть не уснула.

Сорокин поцеловал Наташу, потом чуть отстранил от себя.

— Подожди... я тут хотел спросить, этот Костик — он что у вас, один на двоих?

— Почему один? Еще пацаны приходят...

— Но это тот Костик, с которым ты... — он запнулся, — про которого ты говорила?

— Ага. Но я с ним уже завязала.

— А что так?

— Завязала, и все. Он вообще придурный какой-то стал. Бил меня сколько раз. Да и с тем делом у него уже не все в порядке.

Наташа хихикнула, прижалась к Сорокину, скользнула ладошкой по животу.

В нем ничего не отозвалось. Он подождал, прислушиваясь к себе — ничего...

Погладил пальцами ее волосы:

— Что-то я устал сегодня... Еще день был какой-то дурацкий, прямо с утра навалилось. Голова уже ничего не соображает.

— А чего тут соображать? — засмеялась Наташа, — раз, и на матрас! Я одно

кино смотрела — так там вообще как только не спят! Одна скатерку со стола сдернула и говорит Бельмондо: давай здесь! Представляешь?

Она приподнялась, Сорокин взял Наташу за плечи, потянул вниз.

— Я, правда, устал. Извини.

— Ты что, из-за Кости, что ли? — спросила Наташа.

— Еще бы я из-за этого придурка нервы себе рвал, — раздражаясь, сказал Сорокин, — просто настроения нет. Я уже говорил тебе.

— Ну ладно, раз не хочешь, — Наташа легла и притихла.

Сорокин обнял ее, закрыл глаза и почти сразу уснул. Успел почувствовать только, как Наташа выворачивается изпод его руки, уходит куда-то в темноту, а у него нет ни сил, ни желания ее остановить.

* * *

Проснулся он от стука в дверь. Поднялся — Наташи рядом не было, и пошел открывать.

Пришел брат:

— Мать вчера звонила. Домой выезжает.

— Что, тетка выздоровела?

— Да вроде этого. А я подумал: мать приедет, а у тебя тут картина «Не ждали». Ну и заскочил на всякий пожарный.

Сергей косил глазами в глубь комнаты, и Анатолий усмехнулся:

— Нет там никого, проходи.

— Да я, собственно, на минуту, на работу пора, — сказал Сергей, но в комнату прошел. Взглянул на кровать, хохотнул, — кучеряво живешь, братан — на двух подушках спишь.

— Ей тоже на работу. Только что убежала.

— Значит, все в ажуре?

— Только так. Чаю сделать?

— Нет, я сейчас пойду.

Но не уходил: щурясь, оглядывал стены, потом присел к столу, побарабанил пальцами по крышке.

— Случилось что? — спросил Анатолий.

— Да в общем-то нет. Так, мелочи... — Сергей поежился, будто на ветру, — тоскливо что-то.

— Это бывает.

— Бывает, — вяло согласился Сергей, — я что думаю: неплохо бы как-нибудь посидеть, поговорить. Так как?

— Можно и поговорить.

— Давай завтра вечером. Надька как раз в гости к матери своей собирается и Артема с собой заберет. Я пивка добуду, рыбка сушеная есть.

— Договорились.

— Ну, тогда я побежал, — Сергей легко поднялся, — матери — привет, она часика через два прибудет.

Он ушел.

Сорокин оделся, прибрался. Под подушкой нашел листок из блокнота. Это была записка от Наташи. «Спасибо за все хорошее. Жалко, что не подошла. Привет!»

Он сел на кровать, еще раз пробежал глазами три короткие строчки. Медленно подумал: «Ну вот... Все, собственно, к тому и шло»... На душе было погано. Он положил Наташину записку в карман рубашки, собрал постель и пошел готовить завтрак.

Обычно его встречала мать. Она будто знала, в какой день он приедет, и у нее всегда были наготовлены пельмени, пресные картофельные шаньги — все то, что он любил. Теперь ему самому пришлось встречать. Сорокин постоял у кухонного шкафа и не смог придумать, чем порадовать мать — он как-то не приглядывался раньше к тому, что ей нравится. Сорокин повздыхал и стал варить суп с тушенкой. Вспомнил, как хозяйничала здесь, на кухне, Наташа. Как она ловко вертелась среди этих стульев, стола и плиты, как мурлыкала что-то — про себя. А с первого раза и не подумаешь, что она может быть хозяйкой.

Сорокин позавтракал и поехал на вокзал.

До прибытия бийского поезда оставалось еще около часа. Сорокин кушил свежие газеты и пристроился у подоконника, в углу зала. Газеты звали к обновлению жизни. Сорокин не очень верил в то, что можно что-то изменить. «Один вон попробовал, а толку? Но он хоть попробовал», — подумал Сорокин. И неуютность, которая в эти дни копилась в его душе, забрехала жестянкой. Сорокин свернул газеты в тугую жгут и, похлопывая им по ладони, пошел к выходу.

Вышел на привокзальную площадь.

— Парень, дай закурить, — кинулась к нему молодая брюхатая цыганка.

— Беременным — вредно, — повернулся к ней Сорокин и пошел дальше.

— Э, какой злой, не будет тебе счастья в жизни, — крикнула вслед цыганка.

Рядом с вокзалом был базар.

Старухи стояли с солеными огурцами, квашеной капустой и картошкой. Фруктами и цветами торговали люди с Кавказа и из Средней Азии. «Надо бы чего-нибудь матери взять» — подумал Сорокин. В углу базара он увидел парня, которого встретил вчера у Риты — Костика. Тот кружился вокруг толстого азиата в кожаном черном плаще и о чем-то, похоже, просил его. Азиат лениво покачивал головой, потом показал на часы и кивнул в сторону вокзала. Костик сгорбился и поплелся прочь. К нему подошли двое ребят, которые ждали его чуть поодаль. Костик что-то сказал им, те вздернулись и пошли с базара.

Сорокин направился к азиату.

— Яблоки хочешь? На всем базаре нет таких — бери, не пожалеешь! — зазывно сказал продавец.

Сорокин свернул из мятой газеты кулек, сложил туда яблоки и, оглянувшись, тихо спросил:

— А кроме яблок нет чего-нибудь?

— Чего хочешь, говори! — опираясь о прилавок короткими толстыми пальцами, подался к нему продавец.

— Травки надо, — запинаясь, сказал Сорокин.

Азиат сощурился, окинул его быстрым цепким взглядом. Помедлил. И развел руками:

— Не понимаю, чего хочешь. Какую травку?

— Ладно, — сказал Сорокин, — это я так.

Он вышел с базара, усмехнулся: «Тоже мне сыщик нашелся...»

Брюхатая цыганка на площади насканивала на какого-то мужика. Тот мялся, пожимая плечами, и шарил по карманам.

Сорокин обогнул пригородные кассы и там, у задней стены присел на деревянный ящик. Закурил. Подумал: «А, может, ошибся я насчет травки?» Он вспомнил вчерашний вечер, одуревшие глаза Костика и Риты, Наташу. Жалко все же, что все у них так быстро кончилось. Он ее не гнал, сама ушла. Сорокин достал из кармана ее записку: «Спасибо за все хорошее...» За что спасибо?

Тут он увидел, как к нему подходят Костик и его дружки, и спрятал записку обратно в карман. Непokoйными лицами все трое походили друг на друга.

— Здорово, земляк, — сказал Костик, — это ты вчера у Ритки был?

— Ну, я.

— Будь другом, дай червонец.

— Не дам.

— Нету, что ли?

— Почему нету? Есть. Но не дам, — сказал Сорокин, чувствуя холодок под сердцем.

— Не понял, — качнулся один из Костиных дружков — длинноволосый и светлосый, — это ты у Костика бабу увел?

— Я.

— А ты знаешь, что за это бывает?

— Подожди, Санек, — остановил его Костик, — слышь, как тебя, давай по-хорошему. Я тебе отдам — не бойсь. Срочно надо на одно дело!

— На яблоки, что ли, не хватает? — спросил Сорокин.

— Ага, — быстро согласился Костик, — надо там... в больницу.

— Кому?

— Да это... — нервно помаргивая, Костик силился что-то придумать.

— Не к Парухину, случаем, в больницу?

— Грамотный, я смотрю, — шагнул вперед светлосый, — вяжи еще!

Третий, не вынимая рук из карманов, тоже подступил ближе.

— Нет, может, я ошибаюсь, — напрягаясь, сказал Сорокин, — может, вам, правда, витаминов не хватает. Угощайтесь!

И он приподнял кулек.

— Ах ты козел! — крикнул светлосый и, зыркнув по сторонам, ударил ногой по кульку с яблоками.

Сорокин напружинился, чтобы вскочить. Но не успел. Они навалились на него все втроем. Захрустели под погами яблоки. Ящик смялся, и Сорокин, падая, больно ушибся об асфальт локтем. Его ударили в висок и тут же в лицо. Потом чья-то рука полезла к нему за пазуху. Сорокин пробовал вывернуться, но он спиной был придавлен к земле и никак не мог на нее опереться, чтобы подняться и сбросить их с себя.

Но тут они его отпустили и побежали. Сорокин встал, потер локоть. Сунул руку во внутренний карман плаща — бумажника там не было. А они, оглядываясь, уже шагали вдоль стены низкого привокзального строения. Сорокин побежал за ними. Они заметили, прибавили ходу, но зашли за угол строения и там остановились. Они не прятались, выглядывали из-за угла. Сорокин сбавил ход. Он пошел медленнее, чтобы сбросить с себя дрожь и успокоить дыхание. Он знал, что опять будет драка, и не боялся ее. Он умел за себя постоять, а то, что его пару минут назад повалили, вышло случайным.

— Что, земляк, за добавкой пришел? — вихляясь, спросил светлосый. Он стоял справа от Сорокина.

Анатолий протянул руку:

— Где бумажник?

— Где? На бороде. — Светлоусый усмехнулся и повернулся к Костику: — Ладно, отдай ему, и пусть валит, пока цел.

Костик торопливо вытащил из-за пазухи бумажник и подал Сорокину. Анатолий развернул его, посмотрел.

— А деньги?

— Какие деньги, земляк? Они тебе что, приснились? — хохотнул светлоусый.

Сорокин положил бумажник в карман. В груди тонко и прохладно покалывало. Вынимая из кармана руку, Сорокин с ходу ребром ладони врезал светлоусому по шее. Тот хватанул ртом воздух и стал оседать. Сорокин тут же достал еще одного — того, который молчал. Этот не упал — согнулся только. Сорокин с размаху влепил ему ногой в живот, и молчаливый ткнулся головой в землю. Оставался Костик. Суетливо махая руками, он кинулся вперед и налетел на Сорокина. И даже зацепил его слегка. Сорокин отпрянул и ударил Костика в горло. Но не попал — удар пришелся в подбородок. Костик бестолково закрутился, и Со-

рокин поймал его за руку, крутанул ее.

— А-а! — вскрикнул Костик.

— Деньги где?

— У Санька-а!

Сорокин ткнул его кулаком в шею, и Костик побежал. А дружки его уже поднимались. Молчаливый прижимал к животу руки.

— Деньги, — сказал Сорокин.

Светлоусый, морщась, достал деньги — десятку и пятерку, и подал Сорокину.

Анатолий повернулся и пошел. Опасаясь, что они еще могут кинуться на него сзади, он старался идти твердо и спокойно. Но на него вдруг навалилась тяжесть — липкая, дурная какая-то. И радости от того, что он разделался с этими наркоманами, не было. «Хорошо хоть, никто не видел, — вяло подумал Сорокин, — а то объясняй потом...»

На перроне он посмотрел на часы. До прибытия поезда из Бийска оставалось двенадцать минут. Но это если поезд придет точно по расписанию. А такого в их городе еще не бывало.

И. Дрейцер

ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

В холодную, даже по сибирским меркам зиму 1984—1985 гг. шахтерский поселок Грамотенно, что в центре Кузбасса, оказался в бедственном положении. Из-за безответственности хозяйственников и персонала, как об этом писала областная газета, была выведена из строя только что сданная в эксплуатацию котельная.

Нетрудно себе представить, чем обернулась эта авария для жителей поселка. Остались без тепла квартиры, больницы, детские учреждения, школы, магазины. Шахтерские семьи пришлось срочно эвакуировать. Титаническими усилиями трех производственных объединений удалось ликвидировать последствия аварии, и жизнь горняцкого поселка постепенно стала возвращаться в нормальную — впрочем, какая уж это нормальная? — скорее в привычную колею. А это значит, что, как и до аварии, в домах горняков продолжала отсутствовать горячая вода. По-прежнему плохо поступала на верхние этажи вода холодная. Так до сих пор и не построены новые очистные сооружения, а старые уже не в состоянии обеспечить все возрастающие нагрузки.

«Трудно, неуютно, некомфортно, неприятно жить в Грамотенно», — приходит к выводу специальный корреспондент областной газеты.

«Мне стыдно за то, что здесь происходит, — сознался на поселковом сходе руководитель Всесоюзного промышленного объединения «Кузбассуголь». — Три объединения в поселке, и каждое — особняком».

Между прочим, здесь, в поселке, живут

горняки, которые добывают пятую часть угля на Беловском руднике.

Думаете, в больших городах Кузбасса легче? Ничуть не бывало! К примеру, в областном центре, по свидетельству председателя горисполкома, до нормативов недостает две тысячи больничных мест и поликлиник на четыре тысячи посещений. По инженерному обеспечению, строительству городских коммуникаций отставание — как минимум на пятилетку. В городах областного подчинения, угольных в особенности — положение и того хуже.

Область отстает от союзных и российских показателей (оценка, прозвучавшая на XXVII съезде партии) по обеспеченности населения благоустроенным жильем, детскими дошкольными учреждениями, клубами и общеобразовательными школами. Находится позади многих европейских районов РСФСР по потреблению ряда непродовольственных товаров. Не добирает по уровню коммунальных, бытовых услуг, по связи. Можно бы добавить в ряд — по протяженности дорог с твердым покрытием. По другим показателям социального развития. Все дело в том, что вклад индустриального Кузбасса в общественную копилку значительно весомее многих территорий Российской Федерации. А в общесоюзном разделении труда он обеспечивает ключевые позиции по ряду важнейших продуктов и показателей.

Кстати, издержки угольной промышленности из-за названной диспропорции опять же наиболее ощутимы — без малого половина вложений области в производственное строительство приходится на ее долю. Стоит ли после этого удивляться столь крупным про-

валам бассейна, которыми помечена истекшая пятилетка?

Не вдаваясь здесь более глубоко в технико-экономическую природу обозначившегося недуга (а пакет факторов торможения, разумеется, достаточно объемён, и их анализ более уместен на страницах иных изданий), попытаюсь вычленить социальный срез проблемы. Точнее, лишь часть его. Обязательно оговорив при этом вот какое обстоятельство: социальная составляющая вопроса о том, как Кузбасс дошел до жизни такой, в любой ранжировке факторов торможения получает, на мой взгляд, наибольший вес.

И еще. Говорить об этом тем более важно, что Кузбасс в сущности — единственный бассейн, способный на очень экономичной основе восполнить дефицит высококачественных углей для европейских районов страны. И уже хотя бы по этой причине он заслуживает определенного приоритета при планировании капиталовложений. (Видимо, даже для скептиков не лишена интереса такая, к примеру, деталь: тонна кузнецкого угля в этих районах обходится потребителям на 4—5 рублей дешевле донецкого. А ведь его приходится везти почти через всю страну!)

Пространственная организация нашей экономики складывалась десятилетиями, и такой размещенческий перекося приходится восполнять недешево. Но коль скоро альтернативных решений нет, надо бы исходить из сложившихся исторических реалий...

*

Известно, что Кузбасс — одна из наиболее высокоурбанизированных территорий страны. Градообразовательные процессы здесь протекают значительно интенсивнее и масштабнее, нежели во всей Российской Федерации. К началу 1986 г. его население составило 3 млн. 126 тыс. человек. Из них 88% живет в городах. И по этому показателю лишь Мурманская область идет впереди (92%), значительно уступая, правда, Кузбассу в численности населения.

Градообразование же на территориях, осваиваемых горной промышленностью, значительно сложнее своими социальными последствия-

ми. Особенно, если этот процесс протекает практически хаотично, не регулируясь надлежащим образом. При этом основные трудности задаются, как правило, складывающимся характером расселения. Такова общая закономерность, и процесс урбанизации Кузбасса, увы, не противоречит этой посылке.

Как это ни звучит парадоксально, существующий социальный дискомфорт кузбасских городов в значительной мере обусловлен содержанием его недр. Тем, что в сущности и составляет базу градообразования. Положение, которое французы определяют известной формулой «Неудобство от богатства».

Здесь все дело в том, что проектировщик, определяя место заложения шахты или разреза, привязан к месторождению. Он лишен тех немалых степеней свободы, которыми располагает его коллега при проектировании, скажем, машиностроительного завода или любого иного обрабатывающего предприятия. Ну а к местам приложения труда приходится, естественно, привязывать и жилье.

Впрочем, естественно ли это? Ведь близость шахты, разреза или обогащательной фабрики отнюдь не повышает комфортности среды обитания. Да и массу иных социальных проблем порождает такое расселенческое решение. Скажем, использование вторых членов семьи. Или условия для более полной реализации потенциала личности. Рядом с шахтой обычно не строят предприятий других отраслей, и работник, в сущности, лишен возможности выбора.

Сегодня значительная совокупность проблем социально-культурного плана в Кузбассе обусловлена как раз нерациональностью сложившихся форм расселения на территории области в целом и в местах, осваиваемых угольной промышленностью, — в особенности. До войны, да и в послевоенное время застройка на угленосных территориях велась по принципу «поселок — шахта». И уже в такой расселенческой модели, при всей кажущейся ее экономичности, содержались зерна будущих сложностей.

Не убежден, что выбор рассредоточенных систем расселения диктовался только транспортными проблемами, хотя они существовали

и тогда, да и в наши дни дают знать о себе весьма болезненно. Здесь явно возобладала узость нашего планировочного мышления.

Она-то, в сущности, и запрограммировала многие социальные беды наших дней.

Разумная альтернатива этому способу организации застройки — централизованные формы расселения. А их развитию в бассейне как раз благоприятствует геология. На кузнецких пластах можно строить крупные угледобывающие предприятия.

Мне могут напомнить: при централизованном расселении растут издержки на транспорт, повышаются затраты времени на так называемые трудовые поездки. И все же оно выгодно, возражу я. Тем главным образом, что приносит новое качество в среду обитания. Гуманизирует ее.

Впрочем, здесь достигается и эффект сугубо материальный. Снижаются удельные затраты на социально-бытовую инфраструктуру, рациональнее используются трудовые ресурсы. Преимущества централизации на этом, впрочем, не исчерпываются — их перечень можно ширить. Затраты на транспорт значительно перекрываются экономическим, градостроительным и, главное, социальным эффектом, достигаемым при укрупнении населенных мест и их расположении в наиболее благоприятных природных и планировочных условиях.

Остается только выразить сожаление по поводу того, что столь привлекательная теоретическая посылка оказалась не в ладах с практикой. Вопреки несомненным преимуществам централизации в Кузбассе все эти годы господствовало тем не менее рассредоточенное расселение. Со всеми его издержками типа тех, о которых речь шла в начале этих заметок.

Чем это обернулось для бассейна? Прежде всего какой-то ущербностью, очень низкой надежностью шахтерских тылов. Массой бытовых неурядиц. Невосполнимыми потерями духовного плана. Прямыми экономическими издержками, если хотите.

Каналов потерь здесь тьма тьмущая. Назову лишь один, не самый существенный. Известно, что мелкие котельные потребляют топлива на 25% больше, чем ТЭЦ и крупные со-

временные котельные. В сельской же местности (а неблагоустроенный шахтерский поселок в отопительном плане — та же сельская местность) перерасход топлива еще в 2—3 раза выше.

Вот уж воистину — скупой платит дважды!

*

Сегодня на карте области — больше сотни шахтерских поселков, обустроенных, в сущности, на уровне прошлого века. Большинство из них тяготеет к городам и даже включено административно в их орбиту. Впрочем, это не меняет положения вещей. Более того, усложняется существование таких городов, которые практически разменяли на поселки. Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Анжеро-Судженск, Мыски, Березовский... Городские образования с очень некомпактной, болезненно расчлененной планировочной структурой, досаждающей не только горожанам, но главным образом — «отцам» городов. Попробуйте в таких условиях обеспечить нормальное функционирование коммунальных служб, городского транспорта. А тут еще десятки поселков вокруг с автономными системами жизнеобеспечения (у этого звучного, эпохи НТР термина — довольно примитивное содержательное наполнение, сводящееся главным образом к печному отоплению и традиционной колонке с водой — не густо, не правда ли?).

Геронческие усилия хозяйственников вкупе с органами власти на местах к существенно улучшению бытовых условий, увы, не приводят. Похоже, что во многих случаях сдвиги в пространственной организации экономики даже несколько ухудшают их. Попробую пояснить. Слишком медленная, а чаще всего и вовсе не ведущаяся реконструкция угледобывающих предприятий — некому этим заниматься — вынуждает производителей в поисках угля развивать горные работы экстенсивно, за счет освоения новых участков, зачастую находящихся на значительном удалении от основного поля. И продолжительность трудовых поездок, следовательно, возрастает. В отдельных случаях многократно. Речь, заметьте, — не об эпизодиче-

ских поездках. Режим работы и условия на этих участках ничем не отличаются от «метрополии». Впрочем, здесь я допустил явный перебор — условия намного хуже.

Обустройство и всегда-то отстает, а тут ведь приходится идти за углем, что называется, в чисто поле. Где и административно-бытовых комбинатов никто не припас, и общепит почему-то припозднился...

*

Рост поселений любого ранга, городов — прежде всего всегда сопутствует концентрации производительных сил общества. А ею, этой концентрацией, движет непременно экономический и социальный (хотел бы сделать упор на этом последнем) эффект, от нее получаемый. Так не без оснований полагают специалисты. И не согласиться с такой посылкой в сущности нет оснований: кому нужна экономия, ущербная для человека?

Боюсь, что для условий Кузбасса, как, впрочем, и всего региона, социальная составляющая эффекта концентрации ведет себя как-то иначе. Не совсем сообразуясь с такой общей посылкой. Во всяком случае последствия процесса урбанизации дают повод усомниться в его благоприятном протекании. Дилектика такой рассогласованности, небрежение социальной сферой, тем человеческим фактором, который, увы, еще не всегда оказывается у нас фактором человечности, как раз и задает неблагоприятные выходы в экономику. Мы просто не добираем в результатах хозяйствования. Отдача оказывается значительно меньше вклада. Точнее, меньше наших ожиданий.

*

Мировой, да и наш отечественный опыт свидетельствует: централизация расселения в угольных бассейнах — всегда благо. Почитайте Пьера Мерлена — прогрессивного градостроителя, одного из создателей Генеральной схемы планировки и застройки Парижа. Целая глава его интересной монографии — обзорного труда, в котором обобщен мировой опыт районной планировки и градостроительства* посвящена Верхней Силезии.

* Пьер Мерлен. Новые города. М.: Прогресс, 1975, с. 181.

Не менее интересны планировочные решения в чехословацкой части Силезского угольного бассейна. Здесь тоже на безугольных территориях созданы города-спутники. В этом же убеждает опыт реализации прогрессивных планировочных решений в Рурском бассейне и на угольных месторождениях Великобритании.

Несколько лет назад мне довелось познакомиться с опытом организации расселения на сланцевых месторождениях Эстонии. Здесь уже с начала шестидесятых не вкладывается ни копейки в старые шахтерские поселки. Новое жилье для горняков строится только в Кохтла-Ярве — центре бассейна. И хотя у «Эстонсланца» очень ощутимо возросли затраты на транспорт (на разрезы и шахты рабочих везут в комфортабельных автобусах), руководство объединения считает эти издержки оправданными.

Не хотел бы, чтобы сложилось превратное представление о сибирских проектировщиках. Идеи централизации расселения уже давно овладели их умами. Еще в конце шестидесятых «Сибгипрошахт» завершил работы над проектом освоения одного из самых перспективных районов Кузбасса — Ерунаковского. По состоянию разведанности района здесь возможна закладка 12 шахт и пяти разрезов на общую мощность, превышающую 100 млн. т угля в год. Практически почти еще один Кузбасс предполагается создать на этом месторождении.

Освоение Ерунаковского района должно было привнести и новое качество в характер расселения в бассейне. Впервые в практике градостроительного развития области предполагалось уже изначально, на стадии проектирования и последующего строительства, предотвратить многие неблагоприятные социальные последствия рассредоточенного расселения. Соответствующие проектные проработки были выполнены еще в 1966 году Московским Гипрогором — институтом, давшим жизнь не одному городу в стране. Идеи, положенные в основу концепции будущего города Уската (название условное), были подкупающе привлекательны. На безугольной площадке, в районе, богатом строительными

материалами, а это весьма и весьма существенно, закладывался город на 120 тысяч человек. Довольно компактная планировочная структура. С большой концентрацией «соцкультбыта». И — что особенно важно — с чистым небом над головой. Это гарантировалось и самой «профессией» города, и разумным его «зонированием»: все предприятия обслуживания выносились за пределы города.

И хотя угледобывающие предприятия должны отстоять от города на большом удалении — до трех десятков километров — это расстояние сокращалось использованием скоростных электричек. А глубокие транспортные вводы делали минимальным путь от квартиры к павильону для ожидания поезда практически во всех районах города. Технически такая задача решается — здесь нет непреодолимых преград.

Сверхзадача такого централизованного расселения состояла в том, чтобы высоким уровнем обеспеченности жильем и культурно-бытовыми услугами стимулировать закрепление кадров. Об этом, кстати, еще в 1972 году писали в своей книге «Будущее городов Кузбасса» Г. А. Глотов и Е. Н. Перчик, обсуждая достоинства предложенных Гипрогором районных планировок для перспективных месторождений, в том числе и для Ерунаковского.

Увы, как говорят в таких случаях, гладко было на бумаге... Минуло уже два десятилетия со времени завершения проектных работ по Ерунаковскому промышленному району, а мечта о качественно новом подходе к расселению угольщиков так и не приблизилась к своему воплощению. А речь-то, не забудем, — о районе, на который делается основная ставка. Бассейн переживает период спада, а место этого района в его балансе куда как важно. И конечно же приступили к промышленному освоению Ерунакова, не дожидаясь не то что общегородского, но и завершения инфраструктурного обустройства. Уголь нужен сегодня, а город... С городом решено подождать до лучших времен, которые, с учетом сложившейся ситуации, наступят очень не скоро.

Судя по всему, роковую роль в обосновании такого решения сыграл и Гипрогор, не проявивший достаточного упорства в отстаивании своего проекта. Не так давно концепция города почему-то оказалась пересмотренной в угоду каким-то привходящим соображениям: так и не состоявшийся пока город, еще не родившись, поубавил в своей проектной численности населения.

Так в конечном счете по Ерунаковскому району родилось альтернативное решение, которое, даже предельно мягко выражаясь, нельзя признать разумным. Под застройку жилья для угольщиков выделили целый квартал в... Новокузнецке, в его Новоильинском жилом массиве. Чтобы обосновать это решение, областные организации использовали ряд серьезных экономических доводов: район вписывается в уже существующий городской организм с готовой, хотя и явно недостаточной социально-бытовой инфраструктурой. Есть транспортные и инженерные сети. Относительно легко приращиваются мощности индустриального домостроения. Убеждает? Еще бы! Жаль только — при сравнении конкурирующих вариантов расселения за скобки анализа был почему-то вынесен человек, ради которого в сущности и затевалась вся эта расселенческая акция.

*

...В четырех основных программах освоения Сибири советского времени Кузбасс был первым. Предпосылкой к тому — воспользуюсь очень неказенными терминами ленинского плана ГОЭЛРО — было счастливое сочетание угля и железа в непосредственной близости друг от друга. Доступность этих ресурсов для хозяйственного освоения и явилась основой такого невиданного взлета в индустриальном развитии области.

Но вот в постоянной гонке за показателями производства область упускала тылы. Создав внушительный промышленный потенциал, она ослабила свой социальный — строительство жилья и всего того, что принято называть неудобопроизносимым термином социально-бытовая инфраструктура. А это повлекло за собой сомнительную честь первен-

ствовать в ряде показателей, экономическое благополучие определяющих.

Вот лишь несколько таких симптомов недуга — в региональном исчислении: у области — самые низкие удельные капитальные вложения в жилье; самое неблагоприятное соотношение между производственными и непроизводственными вложениями; самый плачевный процент выполнения плана по вводу жилья.

Для вящей убедительности перечислю несколько специальных «эффектов» отмеченной диспропорции, прямых выходов в социальную сферу. У Кузбасса отрицательное saldo миграции в обмене с рядом европейских районов страны, Средней Азии и даже Дальним Востоком. В этой неблагоприятной демографической динамике болезненно сказывается на экономике области то, что теряется главным образом население в трудоспособном возрасте, притом его наиболее квалифицированная часть. Это ведь в общем-то и естественно: рынок труда привередлив. А кузбасский опыт служит надежной рекомендацией.

Сегодня общий дефицит кадров в области оценивается, если я не грешу против истины, тысяч в пятьдесят, не меньше. И по этому показателю Кузбасс тоже, пожалуй, лидирует в регионе. При такой напряженной ситуации у нас ведь еще и самая высокая в регионе доля трудоспособного населения, занятого в домашнем хозяйстве. Нет-нет, речь не об индивидуальной трудовой деятельности. Отнюдь. Это — возвращаемая бумерангом неотлаженность инфраструктуры — острый дефицит детских учреждений. Вкупе с нашей нерасторопностью в организации народного труда...

Едва ли целесообразно культивировать современное меценатство хозяйственников в социальной сфере. Не может нормально развиваться городской организм от скупых щедрот отраслей. Да и многопрофильность городов усложняет самую процедуру формирования планов непроизводственного строительства. Впрочем, опыт показывает, что и монопрофильные города, по крайней мере, в Кемеровской области, увы, далеки от процветания. Таковы, в частности, упоминавшиеся города горно-добывающей специализации. В них

показатели ввода жилья неуклонно снижаются, усложняя и без того непростую ситуацию с обеспечением нуждающихся в нем.

И хотя в прошлой пятилетке произошел некоторый сдвиг в ассигнованиях на социальную программу, только в городах и поселках, где живут, к примеру, открытки, очередь на получение жилья превышает 10 тысяч человек, в больничных учреждениях недостает около 130 тысяч квадратных метров площадей, около 180 школьных зданий и 50 школ-интернатов находится в аварийном состоянии. Остаются неудовлетворенными свыше 30 тысяч заявлений на устройство в дошкольные учреждения.

Как уже отмечалось выше, процесс урбанизации в районах, осваиваемых горной промышленностью, настолько деформирован, что приходится в сущности говорить о становлении квазигородов — конгломерата поселков с несоразмерно развитыми социальными и экономическими структурами, не лучшим образом подготовленных к исполнению своей главной функции — служить местом обитания человека.

*

Совершенствование поселенческой структуры Кузбасса, на мой взгляд, следует рассматривать сегодня в качестве важнейшего резерва дальнейшего ускоренного социально-экономического развития области, повышения народнохозяйственной эффективности ее производственного потенциала, главной предпосылкой будущего роста.

На протяжении многих десятилетий промышленность области и соответствующие городские поселения развивались по узкой полосе освоенных угольных месторождений вдоль единственной железной дороги, пересекающей Кузбасс с севера на юг. Такая размещенческая стратегия, даже если пренебречь ее социальной ущербностью, оказалась и экономически несостоятельной. И опять же «вклад» рассредоточенного расселения, о котором речь шла выше, явился наиболее весомым. Несколько лет тому назад правительственным постановлением признано целесообразным перенести на безугольные площадки

два города с суммарной численностью населения, превышающей 400 тысяч человек!

Кроме того, из хозяйственного оборота практически исключена значительная часть безугольной территории области, главным образом на севере и северо-востоке. Между тем ее экономико-географическое положение благоприятствует интенсивному развитию производительных сил. По оценке специалистов, вне пределов осваиваемой полосы до сих пор остаются 86% запасов коксующихся углей, все запасы бурых углей, нефелинов, фосфоритов, марганца. Здесь, наконец, есть хорошие строительные площадки, позволяющие размещать на них города и новые жилые районы.

Для условной территории, недра которой содержат такие несметные богатства и, следовательно, осложняют строительство, это обстоятельство весьма существенно.

Но, возвращаясь к главному предмету нашего разговора, подчеркну: совершенствование поселенческой структуры важно прежде всего своим социальным эффектом, тем, что оно позволяет гуманизировать среду обитания, сообщить ей здоровую притягательность. То самое качество, что в состоянии радикально изменить такую однонаправленную миграцию — градостроительный отток из поселков.

Стараниями публицистов-деревенщиков массовое сознание хорошо прониклось пагубностью этого процесса для современного села. Заметный вклад в осмысление происходящего там внесла и социологическая наука. Поселения же промежуточного типа, те, что отличаются от села главным образом «городской» занятостью жителей, обойдены вниманием литераторов. Да и наука почему-то еще не озаботилась ими.

Между тем характер развивающихся в них социальных процессов никак не оправдывает такого безразличия. Выразил бы эту мысль даже категоричнее — игнорировать их просто небезопасно. Делая вид, что там ничего не происходит, мы унавоживаем почву для будущих неблагоприятных всходов. Ведь именно по причине этой социально-бытовой и культурной ущербности поселков прежде всего и происходят перетоки трудовых ресурсов. Фактически им угрожает полная депопуля-

ция. И усилия по наращиванию производственных мощностей могут в сущности оказаться бесплодными.

У этой серьезнейшей социальной проблемы есть еще один экономический аспект. Откладывая до каких-то лучших времен строительство городов на вновь осваиваемых месторождениях, не занимаясь рационализацией сложившихся систем расселения, мы создаем предпосылки для будущего дорогостоящего сноса. Рядом с горными предприятиями неизбежно будут возникать временки — не наездишься на работу каждый день! А эти современные «шанхай», даже если пренебречь их плохой приспособленностью для проживания, на многие годы вперед обрекут будущие города на серьезные трудности.

Сегодня, к примеру, областной центр Кузбасса расходует почти всю годовую программу строительства жилья на создание санитарной зоны — снос примыкающих к химическим предприятиям домов. На угольных территориях цена градостроительных просчетов и того выше. Я уже упоминал о переносе двух городов — Прокопьевска и Киселевска, возведенных на подрабатываемых территориях. И не столько соображениями безопасности руководствовались при принятии решения о переносе городов. В охранных целиках там сосредоточены значительные запасы ценнейших коксующихся углей.

Так стоит ли в наши дни повторять ошибки прошлого?! И без того сложны противоречия между исторически сложившимся размещением населения и нахождением топливно-энергетических ресурсов. Да и процесс перераспределения населения идет, увы, не в направлении его оптимизации относительно ресурсов. Об этом надо бы помнить.

...Среди четырех основных задач социальной политики партии в Программе КПСС первой названо неуклонное улучшение условий жизни и труда советских людей. Нужно ли уточнять, что совершенствование систем расселения вообще и в районах, осваиваемых горной промышленностью, в особенности — одна из серьезных предпосылок к решению такой задачи?

Марина Александрова

ФИЛОСОФИЯ БЕРЕСТЫ

МАЛАЯ РОДИНА

Трудно сейчас представить Марининск таким, каким был он более ста лет назад.

Возвращают нас к прошлому удивительные деревянные кружева резных коньков, ставен, причелин.

...Сибирский тракт — печально известная кандалная дорога. Тракт проходил по самому центру уездного городка и был единственной и главной его улицей. Бесконечный скрип полозьев, конский топот, крики ямщиков. На постоянных дворах снует торговый люд, мелькают тулупы, армяки, шинели...

Представляя такую картину, я иду по главной улице Марининска. А воображение рисует обстановку купеческого или добротного крестьянского дома, скрывающуюся за резными наличниками: крепко сколоченный, выскобленный добела стол, лавки, главное убранство — сундук, обитый по уголкам медными пластинами, начищенными хозяйкой до горячего червонного блеска; самодельная утварь — лохань, прялка, пропитанный лесным ароматом поставок, или туес (по-разному называли эту посуду для кваса, пива или меда). А то еще — бурак. Был он незатейлив, но удобен для хозяйства. Расписной, узорчатый, резной или с оплеткой. Кто теперь скажет, какими они были, эти творения рук человеческих?! Творения не ради эстетики, а в силу необходимости. Ушли они в прошлое.

БЕРЕСТА

Бересте предпочитаем мы сегодня фарфор, стекло, фаянс. А между тем современным ма-

териалам потягаться еще с берестой! И не только красотой и неповторимостью каждого изделия, а и свойствами такой посуды. Надолго оставался холодным квас в туесе (хоть на покос возьми, хоть в дорогу), молоко не скисало по неделе, а хлеб, обернутый берестой, оставался душист и мягок.

Юрий Михайлов и Валерий Кривоносов-Томилини, молодые марининские мастера-умельцы, возродили народный промысел. Поначалу сделали — получилось, а теперь, прикипев душой к бересте, удивляются, как не делать, коли руки сами просят; если почувствовали, ощутили материал этот — мягкий, податливый, лесом пахнущий — руками и сердцем почувствовали!

А что побудило их, толкнуло на туес — тот самый первый, еще не совсем ладный? С чего началось это творчество? Не просто промысел народный, а мастерство и красота, объединенные искусством.

А началось все с восхищения. Друг Юрия — художник Володя Дунаев, научился туеса делать, подглядел работу у деда древнего в Томской области. Увидели тот туес ребята и загорелись. Начали сами пробовать. А туеса те чем дальше, тем больше затягивали.

Что за сила у бересты такая? Всех друзей, хозяек их одарили. «Это такая работа, которая не только душу греет, а людям необходима. Туеса ведь любой хозяйке на радость», — отзываются мастера о своем творчестве.

...Вот они, туеса, теснятся рядками на полках — один на другой непохожие: где тонко и радостно расписанные красками сибирских трав, ягод, где гладкие, ровные, без сучка,

без задоринки — чистые своей белизной. Которые оплетены берестяной косичкой, а которые с незамысловатой коряжкой — под ручку, — словно лебедь выгнула шею или змейка из туеса выгнула.

Такую красоту по нынешним временам вроде и в хозяйстве использовать жалко. Поставить бы куда да любоваться. Уж больно хороши. Но нет! Иначе считают Юрий с Валерием. Хочется им, чтоб туеса их в дело шли, для пользы делались: «Если они просто стоят, как сувенирные, пылятся, они вроде как отмирают. А вот если они используются на кухне — под соль, под сухари, мед, под квас, используются в полную меру, то они становятся красивыми, обтираются, как старинное оружие. Говорили: оружие красиво, когда оно блестит естественным блеском от тепла человеческой ладони.

Так и туеса. Чуть-чуть где-то, может, перекосятся, чуть-чуть края где-то закатаются, крышечка притрется. И такой сувенир — от души, потому что тепло дерева несет».

Тепло дерева... Что за тепло такое? Каждого ли человека греет тепло это? Наверное, нет. Не всякому, к сожалению, суждено почувствовать, испытать радость от прикосновения к бересте, ленточке белой, соком березовым пропитанной. Видно, то тепло человеческой души в дереве не остывает. Что слюбовью делается, и глаз радуется, и сердце волнуется.

Мало того, что сам материал бросовый, так ведь у маринских мастеров еще и каждый кусочек используется. С добрым чувством к бересте они подходят, бережно. Специально на солонку обдирать дерево не будешь, а из остатков иной раз такая получается!.. «Каждый туес своего подхода требует», — говорят Михайлов с Томилиным.

Оно верно, требует. Каждая пестринка на бересте свою роспись подсказывает. И рады бы каждый туес по-своему сделать, мастерство, искусство показать, других научить, да не каждый красоту эту понимает. Свои законы у народного промысла, свои образцы, по которым меряют красоту. Тем художник от простого ремесленника и отличается: он прекрасное в сучке заметит.

Истинное или «а ля народное»?

Обидно и стыдно иной раз бывает смотреть на выставленную в витринах магазинов халтурную продукцию, которая почему-то называется «художественными изделиями народных промыслов». Какая такая художественность в оплетенных винных бутылках, или бутылках-сигаретницах, отделанных самшитом? Чего только нет на таких прилавках: деревянные чарочки, кособоки, раскрашенные в ядовито-зеленый цвет, наскоро выструганные ложки... Словом, аляповатый кич, который глаз не радуется и пользы не приносит...

Обидно, что появились эти горе-товары на свет. Еще обиднее, что выдаются они за народные промысловые поделки. А ведь ничего близкого с народным они не имеют. Делает их какой-нибудь дядя на маленькой фабрике, ни вкусом, ни мастерством не наделенный. И расходуется товар этот убогий по домам нашим, внося в них безвкусицу.

Вот и Юрия с Валерием настораживает: если встанут на поток (когда-нибудь в будущем), то как бы и у них не появились разногласия в душе. Ведь потребуется стандарт определенный. Трудно здесь не растерять тех качеств, что годами копили, доброго, внимательного отношения к каждому туесу в отдельности, с выявлением характерных черт для него.

Есть росписи традиционные, чисто народные, а есть те, что мастера маринские сами вводят. Почему бы не расписать изделие берестяное ягодами сибирскими — неброскими, самоцветами изящными, но не яркими? Или взять фольклорные мотивы, частушки те же? Вот у Юры Михайлова прекрасно все получается. Живописные бытовые сценки счастливо уживаются на его туесах рядом с травяными росписями.

А у Валерия Кривоногова-Томила скалочная жар-птица оживает, перья удивительной красоты расправляет.

— Конечно, — сознаются ребята, — давно состоявшиеся вещи, дошедшие до нас, они, безусловно, отпечаток свой на современное творчество накладывают. Трудно от них сразу отойти, чтобы гармонии бересты не нарушить...

Но на то Юрий с Валерием и мастера-художники, чтобы свое в изделие привнести. В поиске постоянном. Бережно, осторожно ведут роспись. За основу лишь прием сам взяли — изготовление туеса, — а наряд его — декор — это уже свое, выстраданное, найденное в долгих спорах и пробах. Потому-то и каждый туес один на другой не похож. Делают их взахлеб, зачастую до утра просиживая над работой.

Отчего так серьезно, так болезненно относятся мастера к каждому изделию?

— А это, наверное, от того, что душой кривить не хочется. Нам вот часто говорят: «Росписи ваши на иллюстрации похожи». Ну и что? А если мы в душе такой потенциал чувствуем? — «Работайте попроще...» — А как мы можем попроще работать? Делать под народное? Да ведь это предательство. На нет можно народное так свести. Что-то делалось раньше по необходимости быта. Но нас это не удовлетворяет. Мы же художники...

ИСТОКИ

Думаю: не случайно мастера такие, как Юрий Михайлов и Валерий Кривоногов-Томилины, появились не где-нибудь, а в Марининске — старинном сибирском городке. Городке богатой истории, прошлое которого живет в памяти деревянных кружев, в памяти Юрия, Валерия, многих марининцев.

Начались их туеса не только с восхищения. Мастера шли к ним через песни народные — протяжные, вольные, сердечные, — через травы, цветы родного края, перенося их на полотна, через наигрыши гармонь, балалайку, через рассказы стариков.

Спорят со мной отчаянно: нет, не ушли от нас прекрасные ремесла народные, обряды, таинства, не ушли песни русские. Оно и верно. В искреннем порыве, бывает, затянут парни мелодию, на несколько голосов ее раскладывая, ту, что слышали от бабушек своих. Или соберутся под рождество лихой развеселой компанией, всю ночь с шутками-прибаутками по домам ходят — колядуют. Это ли не чудо в дни наши? Не запланированное

клубными работниками мероприятие проводят, а праздник души устраивают.

Уродилась коляда накануне рождества.
За горою крутою, за рекою быстрою.
Стоят леса дремучие, огни горят горячие.
Вокруг огня люди стоят,
Люди стоят, колядуют.
Люди стоят, колядуют:
— Ой, коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда, накануне рождества!
Святой вечер, добрый вечер!
Добрым людям на здоровье!

Свадьбы гуляют обрядовые. Все как положено: с песнями, с плачем, со сватаньем. Частушек знают множество. Не чувствуют себя растерянными и растерявшими что-то не чувствуют. Отложилось начало это в них, и теперь не только воспроизводят — развивают. Проросли корни плодами. То, что стало достоянием их души, детям своим прививают. И живут этим, и питают свое творчество.

— Только так можно и возродить, и создать свой промысел, — рассуждают они. — Законсервировать как эталон, как образец, а затем отходить от него в чем-то, добавлять новое.

Нелегко марининским мастерам творить в продолжении традиций. При работе по бересте есть образцы севера русского, те, что общеприняты давно, — классика. А в Сибирь...

А как туес сработать, чтобы не сказали: ой, ребята, вы — сибиряки, а делаете, как архангельцы! И думают: будем искать, как подсказывает сердце. Путь тернист. Главное — душой не покривить, честно сработать и творчески. Много подсказывает природа. А общаются с ней ребята близко, среди трав, деревьев выросли, понимают ее, дыхание леса чувствуют.

Много теплых слов услышала я от них и о стариках мудрых. Уходят они из жизни, но секреты с собой не забирают — перенимают у них Юрий с Валерием самобытность, открытость, щедрость. Взяли за правило, как бы в дань перед ними — не таить, все, чем владеют, а делиться. Пусть каждый (если есть желание) осваивает, детей учит. Они делают так же.

Есть у Михайлова и Томилина мечта — посвятить серию работ городу. Уходит его неповторимость в прошлое, на глазах дома рушатся. А ведь Кемерово — центра областного — еще и в помине не было, а Мариинск уже звучал в Санкт-Петербурге.

— Тут, конечно, не только в истории дело, но и в том, что твой город — часть тебя. Как об этом говорить? Сложно. Просто город родной — истоки, что напитали тебя, твое творчество, дали силы идти по жизни.

КИРПИЧКИ КУЛЬТУРЫ

Заметили ребята особенность: везут тусса на выставки в большие города — Москву, Киев, — и там, особенно в среде художников, интерес особенный к изделиям чистым, гладким, не наделенным красками, отмеченным печатью простоты. К расписным относятся с осторожностью.

В городах малых — наоборот. К расписным тянутся: в руки берут, пропитанные тонким изящным рисунком тусса притягивают внимание. Думали над этим немало. Отчего так? А, может, оттого, что уровень жизни, интерьеры сильно разнятся? Там, где интерьеры богаче, площади роскошные, парки усеяны цветами, архитектура высокая, насыщенная, — тянутся люди к народному, им изделия нужны попроще. А у нас и дома, и скверы посрее (что скрывать?). И радуют глаз больше тусса цветные, радужные.

Да так издавна повелось: не было у крестьянина возможности иметь на столе богатые столовые сервизы, посуду изящную. Свою делал, удобную, простую в обращении и исполнении. А чтобы разнообразить быт как-то, украшал резьбой замысловатой.

Вот и мастеров мариинских естественный чистый тусс не удовлетворяет: нутром почувствовали — надо еще что-то, творческую изюминку привнести.

И еще заметили: разучились люди веселиться, так чтобы праздник — так праздник, все для него. Где гулянья сельские, где песни девичьи за околицей? Где гармонисты, которых вся деревня знает? А гулянья — это что? Это отдых от труда. Труд сегодня, в прин-

ципе, легкий. Если у человека течение жизни размеренное, спокойное, ему уже и повеселиться лень, да и не умеют.

Раньше только минутка праздничная выпала, крестьяне жизнь скрасить стремились, выплескивались в песнях да плясках полностью. На современные клубы сетуем. И здесь сложно. В клуб придешь — там кружок хоровой да танцевальный. А ведь песню спеть — определенный момент для души нужен, если ее естественно спеть, в порыве, так, как песня зарождалась. Ведь она как рождалась? Не на показуху... И вдруг это удовольствие, наслаждение, этот момент души растянуть хотят на определенный период — репетиции, подготовку концерта, период ожидания выхода на сцену. И с песней что получается? Обыкновенный «механический» процесс. Вышел — сделал. А чувства расплескал все по дороге. Жизнь стала легче — и пропала у народа потребность выплескивать радость, страдания из души в одночасье. Человек когда поет — очищается.

Песни русские народные — протяжные, глубокие. И говорят мне Юрий с Валерием:

— Мы же не можем некоторые песни петь! У нас элементарно не хватает воздуха в легких. А споешь песню от начала до конца — и у тебя все легкие, каждый уголок прочищен и думы светлые.

Учился Михайлов в Красноярской художественной школе на вечернем отделении. Работал на судостроительном заводе и учился. Притянула же живопись. Участвовал в областных и зональных выставках. Через живопись пришел и к туссам.

Томилин закончил заочно Московский народный университет искусств. На двух факультетах мастерство изучал — оформительском и прикладного искусства.

— Откровенно говоря, не для выставок работаем, — говорят они. — Спорим часто. Для чего занимаемся? Однозначно не ответишь. Можно сказать: хочется, и все. Пусть так будет: хочется... Потребность души — здесь все. И вряд ли мы пойдем по иному пути, накатанному. Не можем реализовать свой творческий потенциал через одно что-то. Если мы идем колядуем наряженные... и после

этого живописью занимаемся... Ведь на колядки нас толкает то, что мы с материалом работаем природным. Сделали первый туес — получилось. А сумев его сделать, мы как художники обязаны еще душу в него внести. Это та же картина для нас, то же полотно, — и руки просятся сами...

...Шли, ехали в Сибирь переселенцы. Из Рязанской губернии свое везли, из Тамбовской, Тульской — свое. Вот такой винегрет получился. А теперь попробуй разберись: какая исконно сибирская культура?

По колориту, по сложившемуся мнению, должно быть вроде все такое крепкое, коренное... Вот и мастерам из городка сибирского слышать не раз приходилось: туески должны быть ваши кряжистые... А они не согласны. Почему в Сибири не может быть туес изящный, высокий? Полет души отразить...

ФИЛОСОФИЯ БЕРЕСТЫ

Мы разговаривали с Юрием и Валерием уже несколько часов подряд. А тема нашего разговора оставалась неисчерпаемой. О бересте мастера могли говорить так долго и так увлеченно, словно это живое существо, со своей судьбой, своим прошлым, будущим. А, может, и в самом деле живое?..

— По крайней мере мы поражаемся: год говорим, два и буквально дня не проходит, чтобы не коснулись мы этого вопроса. Удивляемся: вроде что тут? — взял поясень бересты, надел на него рубашку, опоясал, сделал доньшко — готово! Что тут говорить!? Оказывается, столько еще нюансов тонких. Постоянно открываешь для себя новое.

Работая с этим материалом, становятся друзья внутренне богаче, мудрее. Замечали: берешь в руки бересту — философствуешь... Сам с собой, с людьми, с природой, со временем говоришь. Единение с природой чувствуешь, проникаешь в то время, когда этим

занимался какой-то человек, и вроде соприскаешься с ним, разговариваешь наедине... Удивительное свойство бересты.

Вот стоят три туеса — набор таежный: брусника, клюква, а это черника — неяркие лесные ягоды. Береста, что пошла на туески, бросовая. Ее ободрали, пестринки все естественные остались. Пятнистая береста, вроде и в дело не годится: где-то жуками изъедена, червоточинами, — бросовая. Но не выбросили ее мастера. Сделали изделия с росписью, заполнили пестринки красками, белая оплетка, решенная в современном варианте, подчеркнула при всей корявости материала особенную красоту его. Оплетка, что белоснежный таежный снег на валежниках, гаях, завалах. И роспись к месту села, и пестринки легли к месту.

— Работаешь с берестой — ощущаешь эту глыбу народную... ничего лишнего нет — ни убрать, ни добавить.

Вот она, мудрость рациональная. Здесь и бережное отношение к природе, и уважение к окружающим, потому что сделано людям на радость.

— Труд размеренный, спокойный, с приятным материалом для рук... И вот работаешь — обо всем забываешь, обо всем. И хочется работать, работать, работать. И постоянно думаешь, размышляешь — вот что важно. Ведь жизнь, действительно, торопкая. — Так судят мастера о деле своем.

...Много встреч, бывает в нашей жизни. Встретился мудрый человек — даст добрый совет. Разбегутся стежки-дорожки, а совет останется. А вот каждый ли может к сердцу своему прислушаться, к березе белоствольной, к травинке лесной? Не каждый...

А Юрий Михайлов, Валерий Кривоногов-Томилини прислушаться смогли к доброму совету духа народного. Вобрала их душа мягкое тепло дерева. В сердце своем берегут его, чтобы другим людям дарить.

...Философию бересты познали.

С. Смолянин

ДОБРО И БЛАГО ЛЕСА

Заметки о книге Л. Гержидовича «Хвойный дождь»

Выходит, что в наше время региональность поэзии обусловлена не только географическими границами местности, где творят поэты, но и теми книготоргами, где продаются их книги. В своем городе я не смог найти двух предыдущих книг Гержидовича. Может быть, и разговор получится несколько оторванным от прошлого, ведь интервал между книгами у него достаточно велик: первая вышла в 1970 году, вторая — в 1979 и третья книга «Хвойный дождь» — вышла в 1987 году.

Герой Гержидовича понимает романтику города, признается, что видит и в нем гармонию. Но чем он отличается от многих нас, так это тем, что, выйдя за пределы города, не наполняется минутным восхищением, чтобы потом броситься на промысел. Здесь, в лесу, он видит свой мир, где любит и принимает все:

Принимаю всякую травинку,
Понимаю волка и лису.
И без дела малую былинку
Не сомну в обжитом мной лесу.

Чувства, наполняющие лирического героя Гержидовича, — это ощущение перемены, движения леса, а в итоге — жизни большого мира тайги. И как раз именно такой взгляд отличает Гержидовича от многих, кто приходит в лес на прогулку с шашлыками. Это взгляд, это чувство хозяина леса, его верного друга и защитника: «У придорожного околка —/Нежна, красива и стройна —/Зеленой пигалицей елка/Зарей в снегах озарена./Гля-

деть бы на такую./Беречь от всяких непогод;/А кто-то выкрикнул, ликуя;/—Срублю ее под Новый год!»

Структурой, кружевом смысла мне эрот стих отдаленно напомнил «Кузнечика» В. Хлебникова. Не будем в данном случае говорить об уровнях поэтики, почерка; главное — чувство. А оно у Гержидовича, подетски задорно и беспечно смеясь, обволакивается жестким каркасом насущных проблем. В простенной фразе о порубке елки заключена мораль тех, кто не понимает, что красота живого — в живом. К ним и обращается автор: «О люди!/Давайте в лес входить мы будем,/Как в старину входили в храм».

Живописует словом Гержидович просто, не прибегая к сложным образам и оборотам. В форме стиха, его мелодике проявилась одна из характерных деталей поэтики сибиряка. Это напевность, иной раз даже хороводная («В подоле из леса...»), которая умело скрывает перелив чувств, делая из них цельную гармонию — гармонию души. Одна картина рисует Гержидовичем немалым числом деталей — например, в стихах «Дерево». Начиная описание с огромного пространства, поэт постепенно сходит на единичное существо — дерево, достигая этим особо четкого зрительного образа. Действительно, неторопливым повествованием он показывает медленный, долгий процесс превращения «желтенького ростка» в

Л. Гержидович. «Хвойный дождь». Кемеровское книжное издательство, 1987 г.

силу, «приподнимающую солнце», и среда, где деревце рождается, прорисована как нельзя более четко. Такое опосредованное описание предмета изображения создает у читателя не смутный мираж, а четкую палитру красок-слов:

...Уснет под птичьи уговоры
И под нашептыванье трав.
И где цветы восходят ало,
И пляшут пчелы в чудный час,
Широких сосен покрывало
Укроет и согреет нас.

В своей глубокой любви к природе Гержидович иной раз изменяет самому себе. В стихотворении «Лесной сосед» он как бы кичится своим положением, проводя резкую границу между собой и соседом-Диогеном, который по сути мало чем отличается от него самого: такой же лесной отшельник, которому ближе лес, нежели люди. То же самое появляется в строках:

Вижу родные, густые
Ели в раздолье теней —
Это хоромы резные
Жизни простецкой моей.

Внешне вроде бы неплохо, но сколько той же самой кичливости и акцентности в слове «простецкой». Зачем так радостно паяться на самого себя, на свою простоту? Если она и есть, то непременно будет замечена без лишних напоминаний...

Но с течением времени тайга становится все «беззверинней и беспитичней». Что делать? Как спасти ее? Этот вопрос является основной духовной коллизией книги «Хвойный дождь». Причем возникает она вполне закономерно, т. к. это не сборник стихов, а именно книга, имеющая свою сюжетную линию, — сложнейшую многоступенчатую саморефлексию лирического героя поэта. Посмотрим на его развитие: в первых стихах он поет гимн своей родной Сибири, превознося ее и восславляя, но уже и тогда зарождаются зачатки беспокойства и тревоги. Далее мы видим уже не бессознательное чувство, а вполне реальные, имеющие достаточно оснований опасения за судьбы тайги. А еще дальше разгадка. Поэт, начиная круг познания

своего мира с самого себя, отдавая ему душу, вдумываясь и осмысливая, первопричину несчастий природы находит в себе. Он — зверь, попавший в капкан, который сам же поставил. Душевная мука Гержидовича взрывается в стихах «Живу совсем неплохо...»:

И я с талин,
Как платья,
Иду снимать корье:
Устроен добывать я
Доходное сырье.

По первом прочтении в этом эпизоде мне почудилось некоторое юродствование. Маски сброшены. Но:

Не уйти,
Никуда мне не деться,
Плоть моя
Отстоялась, как соль,
Подступили
Под самое сердце
Неизбывная совесть и боль.

Хоть и непонятно, почему Гержидович с чисто апостольской самоотверженностью берет на себя всю ответственность за происходящее, но это очень импонирует. Познавая жизнь такой, как она есть, зная и «бетонно-блочную холстину», и «первородство» тайги, он вправе отвечать за других. Почему? — Потому, что жертвенный алтарь Гержидовича — это душа его самого, потому что именно она после охоты «отстрелянной гильзой» дымится, и приносит поэт на этот алтарь самого же себя. Этот круг, в котором познание начинается с самого себя и через анализ внешнего, опять же обращается к самому себе, невольно втянул в круговорот мыслей и чувств и меня. И я, как бы примкнув к поэту, задал себе вопрос: а так ли больно мне?

В борьбе за спасение тайги, не сделать из нее «дойную корову», принимая ее «Добро и Благо», нам даруемые, творчество Гержидовича должно принести свои плоды. Завуалированная оптимизмом таких стихов, как «В лес уйти не от жизни, а к жизни...», «Коростель», «Я накрепко привязан...», «Дерево» и подобных, боль души Гержидовича и его лирического героя не укроется от читателя. Она слишком сильна в стихах «Живу совсем не-

плохо...», «Охотник», «По охотничьим чащам», «Раздумье» и других.

Естественно, что на данной тематике поэт не замыкается. Есть в его книге и стихи о городе, любовная лирика, ироничные меткие насмешки над некоторыми эпизодами нашей жизни. Но все это не есть система. Это штрихи к портрету героя книги, единого героя. Поэзия Гержидовича — это восхищение и скорбь по тайге — былой, нынешней, будущей. А все остальное, как уже говорилось, осторожные, ненавязчивые штрихи к образу героя.

Теперь о технической стороне книги. По стихам видно, что их автор в тайге свой человек. Он хорошо знает ее и людей, которые

там живут, их язык. Именно последнее, на мой взгляд, оказало Гержидовичу медвежью услугу. Бесконечные «урманы», «бодяки», «копалухи», «согры», «колготье», «куржаки», «кукши», «ломья», «синюхи» и прочие неоднородности поэтического языка иной раз приводят к трудности правильного понимания идеи стиха, постижения гармонии его звука. Вот уж поистине: «Чем дальше в лес, тем больше дров».

Поэзия Гержидовича строится не алгебраически. Ее питает духовное начало — освоение поэтом своего мира, своего пространства, своего времени. Мир Гержидовича — тайга, пространство — ее жизнь, а время — «Хвойный дождь». Мне же, прочтя книгу поэта, захотелось в этот дождь окунуться.

г. Новосибирск

Владимир Матвеев

ДЕБАЛАНС

В краснобаев попаду,
на трибунах
находящихся:
призывающих к труду
стало больше,
чем трудящихся.

БИЗНЕС ПО-РУССКИ

Не попил —
Накопил.
Накопил —
Дом купил.
Дом купил —
И пропил.

МУДРЫЙ КЛАДОВЩИК

Богаче всех
живет Кузьма,
хотя и мал
размер оклада:
такой, наверно,
склад ума,
что все несет домой
со склада.

О ЛЯГУШКЕ-ЦАРЕВНЕ

Другое времечко
настало,
мы видим,
сказкам вопреки:
лягушек — тьма,
царевен — мало
и поумнели
дураки.

ПОПРАВКА К АРХИМЕДУ

Об этом безумце,
дочка,
пустые
оставь разговоры! —
лишь там,
где торговая точка,
и есть в жизни
точка
опоры!

ПИОНЕРСКИЙ РАПОРТ

На текущий момент
в общем
есть достижения,
но понизился резко
процент поведения,
и упала заметно
кривая занятий —
по причине отсутствия
мероприятий.

ЗАГАДОЧНАЯ ЗАРЯ

Юный читатель
над образом мается,
творческий
хочет постигнуть
секрет:
— Сказано в тексте: —
«Заря занимается»...
Чем занимается? —
Ясности нет.

ДОКЛАД НА ТЕМУ...

С докладом
выступила Ната
и показала чудеса:
о «краткости —
сестре таланта» —
проговорила
три часа.

ЗОЛОТАЯ КАПА

Роскошный гардероб
у Капы
и золотой браслет
на ручке...
Не знает
дня рожденья папы,
но знает день
его полочки.

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО

...от поколения и века.
По морде
смазал подлецу.

Илья Фояков

— Откуда
столько синяков?
— По морде
смазал Фояков.
Теперь
шагаю в ногу
с веком:
был подлецом —
стал человеком.

ДЕТИ НОВОСЕЛОВ

(Почти по Михалкову)

— А из нашего окна
яма грязная видна.
— А из нашего окошка —
кирпичей негодных
крошка.

— А у нас,—
сказал Андрей,—
дом без окон,
без дверей.
В нем темно и одиноко,
но зато он сдан
до срока.

ПЕРЕД ВЫХОДОМ КНИГИ

Гляжу на звезды,
и завидно аж:
И мне —
о, господи!—
дай
массовый
тираж!

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дошел до конца—
иди дальше!

Эдуард Балашов

Я до конца дошел...
В стихах
так много фальши!
Иди-ка сам ты, Балашов,
подальше!

ГРОЗА ДУРАКОВ

Я не дам себя в обиду.

Грозная, большая

с виду,

Я ему отвечаю так:

— Ненавижу, сам дурак!

Татьяна Бек

Мужчины,
у Татьяны
прав таков,
что может обойтись
жестоко с вами:
она в три шеи
гонит
дураков...
А умные —
ее обходят
сами.



Р. Голков. «Кемерово АИК. 1922 год. Рут Кеннел». Мозаика.

